Жан-Мари Гюстав

# Леклезио

## Битна, под небом Сеула



*Когда-нибудь, рано или поздно, мы встретимся под небом Сеула.*

ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО. КНИГИ ЛАУРЕАТОВ МИРОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

# Битна, под небом Сеула
# Жан-Мари Гюстав Леклезио

Аннотация
Жан-мари Гюстав Леклезио; [перевод СФранцузского С. Васильевой]. Битна, под небом Сеула
Первая история, рассказанная Саломее
Вторая история, рассказанная Саломее
Третья история, рассказанная Саломее
Продолжение истории про господина Чо и его голубей
История про убийцу-недоучку
Конец истории про господина Чо, рассказанной Саломее
История про певичку Наби, рассказанная Саломее
История про двух Драконов, рассказанная Саломее
На ту сторону по мосту из радуги. История, рассказанная Саломее в больнице «Северанс»

## Аннотация

Жан-Мари Гюстав Леклезио – выдающийся французский писатель, лауреат премии Ренодо и Нобелевской премии 2008 года. Блестящий стилист, опубликовавший более сорока романов. Увлекшись корейской культурой, Леклезио создал удивительной яркости произведение о сеульской Шахерезаде, жизнь которой, пусть и на короткое время, становится сказкой.

Битне почти восемнадцать, она живет в корейской деревушке и мечтает учиться. Поездка в Сеул открывает перед ней новые двери, но нужно найти работу. Помощь неожиданно приходит от женщины по имени Саломея. Из-за болезни она не может выходить на улицу, поэтому ищет друга, который рассказывал бы ей истории – радостные и не очень. Битна соглашается, но чем больше невероятных вещей она придумывает, тем тоньше становится грань между миром настоящим и выдуманным.

# Жан-мари Гюстав Леклезио; [перевод СФранцузского С. Васильевой]
# Битна, под небом Сеула

© Stock, 2018 Published by arrangement with Lester Literary Agency
© Васильева С., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

*Когда-нибудь, рано или поздно, мы встретимся под небом Сеула.*

***Корейская поговорка***

* * *

Меня зовут Битна. Скоро мне исполнится восемнадцать лет. Я не могу лгать, потому что у меня светлые глаза, и по ним сразу будет видно, если я солгу. И волосы у меня светлые, некоторые думают, что они обесцвечены перекисью водорода, но я такой родилась — с волосами цвета кукурузы, потому что после войны мои бабушка и мама очень голодали. Я родилась на юге, в провинции Чолладо[1], в семье торговцев рыбой. Родители у меня люди небогатые, но, когда я окончила школу, они решили дать мне самое лучшее образование, нашли для этого «небесный» уни-

**[1] Сноски: 1**

Чолладо — одна из восьми провинций Кореи во время правления династии Чосон. Была расположена на юго-западе Корейского полуострова. В настоящее время ей частично соответствует провинция Чолла-Намдо (Южная Чолла), административный центр — уезд Муан. *(Здесь и далее прим. пер.)*

верситет (университет SKY[2]) и взяли кредит. С жильем поначалу проблем не было, потому что тетушка (старшая сестра отца) согласилась приютить меня у себя, в крошечной квартирке в квартале Ёнсе, рядом с университетом. Я жила в одной комнате с ее дочкой по имени Пак Хва, что означает «чистый цветок», хотя на самом деле это имя ей совсем не подходило. Я рассказываю так подробно, потому что именно эта ситуация и это соседство стали причиной моих дальнейших приключений и послужили моему образованию не хуже лекций преподавателей, так как, именно живя в этой комнатушке, я поняла, сколько в человеке может таиться злобы, зависти, подлости и лени.

Пак Хва была на несколько лет младше меня, и я очень быстро поняла, что приглашена сюда специально, чтобы заниматься с ней. Сначала это были обычные просьбы: «Битна, ты такая благоразумная девочка, может, повлияешь на сестру, чтобы она делала уроки (или прибиралась в комнате, или помогала по хозяйству, или

**[2] Сноски: 2**

SKY — аббревиатура для обозначения трех самых престижных университетов в Южной Корее: Сеульский национальный университет, Университет Корё и Университет Ёнсе. Термин широко используется в СМИ Южной Кореи и в самих университетах. Здесь: игра слов (*sky* по-английски «небо»).

молилась, или стирала свое белье и так далее)», но постепенно эти пожелания становились более настоятельными рекомендациями («в конце концов, кому, как не тебе, показывать ей пример») и, наконец, превратились в настоящие приказы: «Битна! Что тебе сказано? Сходи за сестрой, приведи ее и приготовь ей обед!»

Очень быстро ситуация стала невыносимой. Пак Хва совершенно отбилась от рук. Ей было четырнадцать лет, и она ничем не интересовалась, кроме собственной персоны. Часами она смотрелась в увеличивающее зеркальце, выискивая у себя на коже разные дефекты, покраснения, прыщики, выдавливала из них ватными палочками гной, обрабатывала ранки спиртовыми салфетками, после чего замазывала шрамики маскирующим карандашом, а затем прятала их под толстым слоем тонального крема. Она стала настоящим знатоком в области эстетической медицины!

Это была беспрестанная битва, мне приходилось подолгу вдалбливать ей, что она должна сделать, а в результате — крик и слезы, а то и припадки бешенства, когда Пак Хва запускала мне в голову чем придется, а иногда швыряла за

окно тарелки, стаканы, а то и ножи, так что мне страшно было выглянуть наружу: а вдруг она кого-нибудь убила? После этого я должна была устранять последствия разгрома и выслушивать тетушкины упреки: «Неблагодарная, я столько для тебя делаю, да не будь меня, ты попрошайничала бы на улице или вернулась бы обратно в Чолладо, к своим рыбакам, и потрошила бы рыбу на базаре». Что мне было ответить на это?

Тогда-то я и стала бродить по городу. Занятия в университете занимали лишь какую-то часть дня, остальное же время я гуляла по улицам, а то садилась в автобус или на метро и ехала куда-нибудь через весь город. Сначала я скиталась по улицам, чтобы забыть о семейных неурядицах, о грязной комнате, которую мне приходилось делить с двоюродной сестрой, о нескончаемых попреках со стороны тетушки. Как только я выходила из квартиры, захлопнув за собой металлическую дверь, и спускалась по крутой лестнице, ведущей на улицу, с меня будто сваливался какой-то груз, дышать становилось легче, в ногах ощущался прилив энергии, и я улыбалась.

Улица стала для меня настоящим приключением. В моем родном городке в провинции Чолладо ничего особенного не происходило. Одна-две ули-

цы, несколько магазинчиков, главным образом продуктовых, пара харчевен — вот и весь центр. В пять часов вечера жизнь там замирала, а наибольшая активность приходилась на раннее утро, когда тракторы подвозили туда прицепы, груженные капустой и луком. Мы жили от праздника к празднику, а их в году было три: праздник Чхусок[3], Новый год и День поминовения, когда люди ухаживают за могилами умерших родственников. Приехав в Сеул, я как будто попала в иной мир. Жилые кварталы здесь опоясаны широкими проспектами, по которым во всех направлениях сплошным потоком катят машины и автобусы. По тротуарам толпами идут люди, и толпы эти такие плотные, что мне пришлось специально учиться, чтобы при ходьбе не натыкаться на встречных пешеходов. При моих габаритах (а я вешу 43 килограмма при росте 156 сантиметров), чтобы избежать столкновения, я была вынуждена то и дело отскакивать в сторону, а то и вовсе сходить с тротуара на проезжую часть. Первое время я выходила из дома с тетушкой, когда та

**[3] Сноски: 3**

Чхусок (буквально «*осенний вечер*») — корейский традиционный праздник. Празднуется 15-го числа 8-го лунного месяца. В Южной Корее Чхусок, а также день до и после него являются нерабочими. Во время Чхусока корейцы обычно едут к себе на родину для встречи с родственниками.

отправлялась за покупками, или с сестрой. Они передвигались с поразительной уверенностью, никогда не сходили с тротуара, а, наоборот, тесно прижавшись друг к другу, шли напролом, ни на кого не глядя. Прямо как танк! Я же осмотрительно держалась позади, идя за ними след в след. Каждому встречному я смотрела в глаза, чего тут никто не делает. Сначала я даже здоровалась с прохожими, особенно с пожилыми, пока тетя меня не отругала: «Битна, чего это ты всем улыбаешься? Хочешь, чтобы тебя приняли за дурочку?» Пак Хва издевалась надо мной: «Ну и деревня! Города никогда не видела!»

Вот тогда, в этот первый год моего пребывания в столице, я и взяла в привычку разглядывать людей так, чтобы они не подозревали об этом. Это не всегда просто. Надо найти удобный пункт наблюдения, не слишком далеко, но и не очень близко. В метро можно смотреть на отражения в стеклах, но они не всегда бывают достаточно четкими, да и, кроме того, люди быстро тебя обнаруживают, встретившись взглядом с твоим отражением. В автобусе лучше, потому что там — дневной свет и можно наблюдать за людьми через окна. Либо за теми, кто едет в машине, и тогда ты смотришь на них сверху, потому что

автобус выше автомобиля, либо, когда автобус останавливается или медленно едет вдоль тротуара, ты успеваешь хорошенько рассмотреть прохожих и придумать про них всякую всячину. Кто они, откуда, чем занимаются, что их волнует, какие у них проблемы в личной жизни, материальные трудности, или что они пережили в прошлом, о чем вспоминают, кто их родные, что их печалит.

У меня даже был тогда блокнотик, куда я записывала всё, что видела, с кратким описанием персонажей.

Женщина лет пятидесяти. Одета в черное, довольно поношенное пальто, туфли на низком каблуке, сумочка из кожзаменителя с двумя золочеными пряжками, волосы седые, завивка, вокруг рта морщинки. Она живет в Гангнаме[4], в большом многоквартирном доме, она разведена, у нее крохотная квартирка, ей хотелось бы завести собаку, но в ее доме это не разрешается. Ее зовут госпожа На Ми Сук. Всю свою жизнь она проработала в банке, за стеклянной перегородкой, считала купюры, перечисляла куда-то

---

**[4] Сноски: 4**

Гангнам (или Каннамгу) — район в юго-восточной части Сеула, имеет статус самоуправления. Один из наиболее густонаселенных районов города.

деньги. Она уволилась, не достигнув пенсионного возраста. У нее даже были мысли о самоубийстве, но ей не хватило на это смелости.

Когда автобус тронулся, она перехватила мой взгляд и как будто удивилась, а через мгновение, когда автобус стал медленно набирать скорость, я оглянулась на нее, и она мне улыбнулась.

А вот молодая женщина стоит у края тротуара, автобусной остановки тут нет, она, похоже, ждет кого-то, видимо, за ней должен приехать на машине друг, он уже сильно опаздывает, и она нетерпеливо хмурится. Она думает, что ей надо бы уйти, но ноги словно приросли к тротуару, ей не сдвинуться с места, как в страшном сне… Мне хотелось бы назвать ее госпожой Ко Ын Дже, по-моему, это имя ей очень подходит. Может быть, завтра, когда я буду снова ехать на этом автобусе — номер 660, — она так и будет стоять тут, на этом самом месте. Друг решил порвать с ней, он не отвечает на звонки, а пойти к нему она не решается, потому что у него есть жена.

А эта старушка, должно быть, с Юга, мне знакомо ее почерневшее от солнца лицо, спина, согнувшаяся от полевых работ, она приехала сюда, чтобы проводить в больницу дочку с внучкой, и боится опоздать на встречу с ними: вон как

торопливо она бросилась к автобусу и сразу отпрянула назад, у нее малюсенькие глазки, щеки все в мелких морщинках и родинка на переносице. Ее дочку зовут Юн Джин, она уже три года как замужем за авиадиспетчером, внучку дочка назвала Юн Джа, потому что это имя похоже на ее собственное, хотя такое делается обычно только между сестрами, а еще у нее есть христианское имя — Мария, потому что диспетчер — христианин.

Я записываю имена, названия мест, как будто мне предстоит еще раз повстречаться с этими людьми, но я прекрасно знаю, что никогда их больше не увижу: город такой огромный, тут можно бродить миллион дней и не встретить ни одного знакомого человека, вопреки поговорке, которая гласит: «Когда-нибудь, рано или поздно, мы встретимся под небом Сеула».

А потом я нашла для наблюдения за людьми место получше. Это большой книжный магазин в Чонногу[5]. После занятий я сажусь на метро и еду туда, где в подвальном помещении можно найти любую книгу. Для меня это было что-то невероятное — получить доступ ко всем этим

**[5] Сноски: 5**
Чонногу — один из северных районов Сеула.

книгам. Ведь у нас, в Чолладо, не хватало денег на покупку книг, я пользовалась только школьными учебниками, потрепанными, грязными, в жирных пятнах, со страницами, исписанными несколькими поколениями школьников. Поэтому, открыв однажды для себя этот мир, я уже не могла больше без него обходиться. Каждый день после окончания лекций я ехала в этот книжный магазин и, устроившись в уголке, наблюдала за людьми и разглядывала книги. Мне сразу полюбился отдел иностранной литературы. Я брала наугад книгу с полки и сразу начинала ее читать. Так я перечитала все романы Диккенса, особенно мне понравился «Сверчок за очагом». Я начинала читать, и все вокруг меня исчезало, я слушала гудение большого котла на огне, пение невидимого сверчка где-то в золе, представляла себе, что тоже сижу там, в этой большой комнате, у огня, и сам Чарлз Диккенс рассказывает эту историю — мне одной, по-английски. А романы Мазо Деларош[6], например, «Рождение Джалны»? А «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл? Позже я обнаружила новеллы Эдгара По и зачитывалась «Черным котом», «Овальным портретом», слова заворажи-

**[6] Сноски: 6**

Деларош, Мазо (1879–1961) — канадская писательница. Ее роман «Джална» (1927) — первый из шестнадцати романов о семье Уайтоук.

вали меня, я забывала про время. А еще я читала книги на французском, потому что уже два года, как решила выучить этот язык — такой нежный, такой музыкальный. В этом магазине было всего несколько сборников, в том числе стихи Жака Превера, которые мне очень нравились.

Иногда приходил молодой человек, садился рядом со мной и смотрел, как я читаю, он смотрел так пристально, что мне приходилось отрываться от книги. «Извините, — говорил он, — но магазин через пять минут закрывается». Я смущалась, краснела, пыталась найти оправдание: «Я никак не могу решить, какую книгу купить, простите, пожалуйста». Он вежливо наклонял голову, как будто это было неважно. «Нет-нет, вам не надо решать сейчас, вы можете прийти завтра опять». Он был невысокий, у него были красивые черные миндалевидные глаза, тонкий нос, и я подумала, что когда-нибудь можно будет включить его в число моих любимых персонажей. Я сразу придумала ему имя: я назвала его господин Пак.

Там-то, в книжном магазине, я и начала по-настоящему наблюдать за людьми. Автобус, метро, тротуары недостаточно хороши для этого, потому что люди там слишком много двигаются, быстро шагают, бегут куда-то. А то, наоборот, остано-

вятся, и тогда я сама превращаюсь в объект их наблюдения, а ужаснее этого ничего нет, потому что мне всегда хотелось быть невидимкой, разглядывать других, но так, чтобы меня никто не замечал.

И все же однажды в моей жизни кое-что изменилось. Я ставила на полку книгу, которую только что просмотрела, и тут ко мне подошел господин Пак.

«Пойдемте, — сказал он. — Мне надо вам кое-что показать».

Я не знала, чего он хочет от меня, но покорно пошла за ним. Может быть, на какой-то миг мне показалось, что он предложит мне работу в этом книжном магазине, я мечтала об этом, потому что страшно люблю читать и еще мне очень были нужны деньги. Тетя все время твердила по малейшему поводу: «Ты нам слишком дорого обходишься, надо будет что-нибудь придумать с оплатой твоего обучения и жилья». Сестра слышала все это и становилась еще ужаснее: она специально разбрасывала вещи по комнате, а потом с наслаждением смотрела, как я за ней убираю.

Господин Пак открыл ящик своего стола и про-

тянул мне какое-то письмо. Оно было напечатано на машинке:

*Меня зовут Ким Се Ри, но мне больше нравится имя Саломея, из-за болезни я не могу выходить на улицу. Я жду того, кто будет приходить ко мне и рассказывать, что делается в мире, я очень люблю разные истории. Я пишу это совершенно серьезно, в обмен на ваши истории вы получите хорошее жалованье.*

Далее следовал телефонный номер.

Господин Пак протянул мне листок, я машинально взяла его, сложила и сунула в сумку с учебниками и тетрадками по английскому. Несколько дней я не вспоминала об этом, но потом снова увидела записку, сняла трубку и позвонила Саломее.

# Первая история, рассказанная Саломее

**Апрель 2016 года**

Весной, когда начинают распускаться почки и в ветре чувствуется жажда цветения, господин Чо Хан Су выносит на крышу дома клетки со своими голубями. Господин Чо имеет на это право, потому что он — консьерж, а следовательно, только у него есть ключ, позволяющий выйти на крышу. Дом, где он работает, — это высокое здание восьмидесятых годов постройки, являющееся частью целого комплекса, который называется «Good Luck!» (именно так — по-английски и с восклицательным знаком в конце). Не знаю, почему его так назвали, может быть, оттого что уж больно он не вяжется с самой мыслью об удаче и счастье. Безликое здание с тысячей одинаковых окон, сотнями балкончиков, на которых жильцы развешивают выстиранное белье, чтобы оно сохло на бледном солнце, просвечивающем сквозь большие стекла. На доме господина Чо написан номер — 19, он выведен черной краской на стене

без окон. Девятнадцатый он потому, что есть еще восемнадцать других, точно таких же домов, а этот — девятнадцатый — лучше всех, он стоит на вершине холма, возвышаясь над районом Йонсангу[7].

Стоя на крыше, на двадцатом этаже, господин Чо смотрит на город, на выступающие из дымки огромные бетонные бруски. Весной солнце уже греет по-настоящему, и голуби в клетках волнуются от теплого ветерка, от запаха, что поднимается от окрестных сосен. Они воркуют и толкаются, вытягивают шеи, чтобы выглянуть наружу, забывая о сетке, которой обтянуты стенки клетки. Некоторые говорят: «Голуби — самые глупые существа в природе!» И, чтобы подтвердить правильность своих слов, рассказывают, как эти птицы пытаются иногда улизнуть через такое маленькое отверстие, что в него помещается только половина их клюва. «Вы видели, какого размера у них мозг?» — спрашивают эти люди. Что тут возразить? Господин Чо раз или два пытался спорить с ними: «Но они летают, вы только представьте себе: ведь летать — это совсем не то же самое, что водить машину или решать судоку,

**[7] Сноски: 7**

Йонсангу — один из центральных административных округов в центре Сеула.

правда?» Люди, соседи, жители дома, даже консьержи других домов — все знали, какую страсть питает господин Чо к своим голубям.

Зимой все — и голуби, и сам господин Чо — погружаются в ленивое оцепенение. Господин Чо договорился с управляющим «Good Luck!»: он работает консьержем, но жалованья не получает. Вместо жалованья ему разрешили держать почтовых голубей и даже выносить их подышать свежим воздухом на плоскую крышу дома. «Только вы должны следить, чтобы ваши голуби нигде не напачкали, и не будете возить их в лифте!» Господин Чо согласен. Конечно, со стороны управляющего это большое одолжение, но господин Чо — бывший полицейский, а иметь в доме полицейского всегда полезно. Господин Чо уже пять лет работает в девятнадцатом доме консьержем, но когда-то давным-давно он жил в деревне, на острове Канхвадо[8], неподалеку от северокорейской границы. В этой деревне он вырос, его мать перешла линию фронта и поселилась там как беженка, да так и осталась, сначала она как простая батрачка выращивала лук и сладкий картофель,

**[8] Сноски: 8**

Канхвадо — остров в устье реки Ханган на западном побережье Южной Кореи, составляет большую часть уезда Канхва, административной единицы в составе города Инчхон.

а потом вышла замуж за владельца фермы. Когда господин Чо был маленьким, войны уже не было, но и миром это назвать было нельзя. Повсюду были солдаты, по дорогам ездили только танки и военные грузовики, неподалеку располагалась американская база. Про родину своей матери, своих бабушки и дедушки, своего отца он не знает ничего, кроме названия Кэсон[9]. Дед господина Чо (мать иногда рассказывала ему о нем) был высокий мужчина, очень красивый, смуглый, с густыми волосами, он пел пхансори[10]. У него тоже была своя плантация грушевых деревьев, она досталась ему от жены. Богатый человек, говорила о нем мать, властный, но добрый. Что с ним стало после войны? Но дед давно умер, и теперь по эту сторону границы не было никого, кто вспомнил бы о нем, никого, кроме него, господина Чо, потому что он внимательно слушал все, что рассказывала ему мать. А когда она умерла, то унесла эту память с собой в могилу. И своей любовью к голубям господин Чо обязан ей. Когда

---

**[9] Сноски: 9**

Кэсон — город в Северной Корее, находящийся в провинции Хванхэ-Пукто на юге КНДР.

**[10] Сноски: 10**

Пхансори — жанр народной корейской музыки, который часто называют «корейской оперой».

мать пересекала демаркационную линию, с собой у нее была пара почтовых голубей, которых разводил отец, она несла их на спине вместе с сыном, в мешочке с проделанными в нем дырочками, чтобы они могли дышать. Она взяла их с собой, чтобы когда-нибудь они полетели обратно, на родину, отнесли весточку ее родным, оставшимся по ту сторону. Но время шло, а мать господина Чо все не решалась выпустить их, так они и состарились и в конце концов умерли. Но за это время они успели наделать кучу детей, их-то и разводил господин Чо, чтобы однажды они, возможно, выполнили свою миссию. Он никому не говорил об этом: кто поверит, что птицы в третьем или даже четвертом поколении могут сохранить память о стране, откуда они родом?

Утро. Для голубей нет времени лучше. Господин Чо одну за другой поднял наверх все пять клеток: в каждой по две пары голубей, разделенных перегородкой из толстого картона. У каждой пары есть общее имя, что-то вроде фамилии, но и у каждого голубя есть свое. Кому-то это может показаться глупостью. Госпожа Ли, сделала ему как-то замечание: «Зачем вы даете имена этим птицам? Разве голуби могут знать свое имя? Это же не собаки!» Господин Чо укоризненно посмот-

рел на нее: «Конечно же, они знают свои имена, госпожа Ли. Если хотите знать мое мнение, они гораздо умнее вашей собачки». Госпожа Ли не соглашается. Она любит поспорить и рада, что на сей раз господин Чо соизволил с ней поговорить. «Давно не слышала ничего смешнее, — замечает она. — Чем это ваши голуби лучше моей собачки?» — «Они умеют летать, госпожа Ли», — ответил господин Чо столь категорически, что женщина прикусила язык. Позже она думала: «Мне надо было сказать ему, что летать вовсе не означает быть умным, и, к тому же, что, если бы у моего Лягушонка (так звали ее песика, потому что он был маленький, толстенький, коротконогий и лаем походил больше на лягушку, чем на собаку) были крылья, он тоже умел бы летать».

Итак, теплым весенним утром господин Чо вынес на крышу свои пять клеток. На лифте он не поехал, потому что, будучи консьержем, соблюдал договоренность с управляющим «Good Luck!», что не будет возить голубей в лифте. А то вдруг какой-нибудь недоброжелательный жилец пожалуется, что у него аллергия на птиц? Тогда управляющий получит выговор от банка, которому принадлежит здание. Все это могло бы перерасти в настоящий скандал, а господин Чо

скандалов не любит.

Господин Чо выходит на крышу, тяжело дыша: ведь ему пришлось пять раз пройти все двадцать этажей, с самого низу и до самой крыши, а это, по его подсчетам, составляет приблизительно четыреста ступенек за каждый подъем, то есть всего две тысячи ступенек. Господин Чо немолод. Он тридцать лет отслужил в полиции и давно уже перешагнул порог пенсионного возраста, да и ноги с легкими говорят, что ему не двадцать лет и даже не тридцать пять. Поэтому, добравшись наконец до крыши, он позволяет себе небольшую передышку и, усевшись на основание вентиляционной трубы, любуется городским пейзажем, медленно проступающим сквозь утреннюю дымку. Еще несколько мгновений, и он увидит Намсан[11], стрелу радиобашни, а за ними гигантского сверкающего змея реки Ханган, и еще дальше — небоскребы Каннамгу и ленты автомагистралей. Сегодня воскресенье, весна, еще очень рано, и город притих, как если бы все вокруг затаило дыхание в ожидании того, что же будет дальше.

Вот он, долгожданный момент. Голуби ждут

**[11] Сноски: 11**

Намсан (буквально «южная гора») — холм высотой 262 метра, расположенный в самом центре Сеула.

его, проявляя все больше нетерпения, вертятся в тесной клетке, пытаются бить крыльями, свист маховых перьев лишь усугубляет их беспокойство. Господин Чо чувствует это всем своим телом, его руки и ноги до самых кончиков пальцев словно пронизывает электрический ток, заставляя топорщиться волоски на тыльной стороне ладоней. Он приседает на корточки перед клетками, разговаривает с птицами, медленно называет каждого голубя по имени:

*Лисичка, и ты, Мальчик,*
*Зяблик и ты, Красношейка,*
*Ракета, Белая Стрелка,*
*Светик, Луна,*
*Муха, Стрекоза,*
*Бродяга, Президент,*
*Акробат, Улитка,*
*Бриллиантик, Черный Дракон,*
*Певунья, Король,*
*Плясунья, Клинок.*

Ему нравится, прижавшись лицом к клетке, произносить их имена: услышав свое имя, птицы одна за другой перестают биться, откидывают назад головку и смотрят желтым глазком. Для

господина Чо это словно знак доверия, благодарности и в то же время обещание. Обещание чего? Он и сам не смог бы этого объяснить, но это так: что-то этакое сливается с ним, пробуждая воспоминания о прошлом, это похоже на сновидение, возобновляющееся после долгих дней, проведенных будто во сне.

Момент настал. Господин Чо открывает продолговатый жестяной ящичек, что-то вроде школьного пенала. Внутри лежат несколько записок, он приготовил их заранее, аккуратно написал от руки на тончайшей, почти прозрачной рисовой бумаге. Эти записки господин Чо стал сочинять давно, задолго до того, как написал их. Он не хочет писать абы что, для него это никакая не забава, пусть Соо Ми, его дочка, подшучивает над ним: «Папа, ты что, своей возлюбленной пишешь?» или «Телефончик свой написать не забудь!» Конечно, она не верит. Ее поколению не понять, да и пожилым людям, живущим в этом же доме, тоже. Все они живут в своем времени, им нет дела до господина Чо с его несбыточными мечтами. У них есть Интернет, они пишут сообщения на своих мобильных телефонах, на компьютерах, пользуются мессенджерами. Писем они давно уже не пишут. А ведь

еще несколько лет назад Соо Ми любила писать письма. Господин Чо помнит, что она даже сочиняла стишки, чтобы папа сворачивал их, как сигареты, и прикреплял к лапкам голубей. Потом это у нее прошло. Когда они поселились в этом доме, в центре огромного города, она перестала верить в голубей и в их послания, стала как все.

Пора. Господин Чо открывает клетку, где сидит Черный Дракон, осторожно берет птицу; он держит голубя в ладонях и чувствует, как часто бьется в груди его сердечко, ощущает нежное тепло животика, холодные лапки. Он гладит птицу кончиками больших пальцев, подносит к лицу, дует ей на головку, на кончик клюва. Голубь моргает, потом широко раскрывает глаза, зрачки у него становится круглыми: он понимает, что наконец-то сможет делать то, что умеет, — летать.

Поднялся ветер — мягкий и в то же время терпкий, господину Чо хорошо знакомо это его любимое время года, когда в ветре чувствуется жажда цветения и воспоминания о недавнем снеге мешаются в нем с ароматом робких цветов терновника, что еще только раскрываются в долине. Здесь-то терновника нет, здесь только растения в горшках, которые выращивают на досуге некоторые жильцы «Good Luck!». Да еще

внизу, вдоль здания, высажено несколько магнолий, но они никогда не цветут.

Черный Дракон трепещет в руках хозяина, и господин Чо чувствует, как под пухом все сильнее стучит бубенчиком сердце птицы. Он нежно дует ему на клюв, шепчет что-то ободряющее — не фразы, а только отдельные, тщательно подобранные слова, нежные, округлые, легкие. «Ветер», «душа», «свет», «крыло», «любовь», «обратно», «трава», «снег»… Сейчас Черному Дракону он хочет сказать только одно слово: «надежда», а для его подружки по имени Бриллиантик он выбрал слово «желание», потому что оно означает еще и «ветер». Черный Дракон слушает, зрачок в желтом глазу становится все больше, и господин Чо слышит, как в глубине его горлышка словно начинают перекатываться маленькие камешки: это звучат слова голубиного языка, но они рождаются только в горле, потому что у птиц, когда они рассекают воздух и погружаются в его бурлящие потоки, говорит всё тело — маховые перья, крылья, хвостовое оперение. Господин Чо медленно подходит к краю крыши, протягивает руки, словно преподносит птицу в дар небу. Шш-ш-ш-ш! Черный Дракон взлетает, сначала падает вниз, потом вдруг будто спохватывается, взмывает

вверх, парит над улицей и устремляется в полет над домами, держа курс на восходящее солнце.

В клетке волнуется Бриллиантик. Она услышала шум крыльев, теперь ее очередь, она знает это, возмущается. Когда господин Чо берет птицу в руки, она начинает клеваться, словно говоря: «Пусти, дурак! Мой любимый уже в небе, пусти меня к нему!» Господину Чо даже не надо подходить к краю крыши. Он раскрывает ладони, и Бриллиантик взмывает вверх, она легче своего дружка и поднимается прямо в небо, очерчивает дугу над проспектом и через несколько мгновений исчезает в потоках света. Господину Чо не проследить за ней взглядом, у него слабые глаза, от яркого солнечного света они начинают слезиться.

Тогда господин Чо принимается ждать, ожидание его будет долгим. Он знает, что оно может длиться часами, иногда до самой ночи. Он садится на крышу рядом с клетками, закрывает глаза и пытается представить себе, что видят сейчас, пролетая над городом, Черный Дракон и его подружка Бриллиантик. Высокие здания из стекла и бетона, похожие на хрустальные утесы, ленты автомагистралей, а дальше — широкая река. Энергия, накопившаяся в их крыльях за

недели заточения, преобразуется в электрическую силу, птицы машут крыльями с огромной скоростью, все выше и выше поднимают их воздушные потоки, но вот ледяные дыры над рекой заставляют их спуститься ниже. До реки впереди держится Черный Дракон, но потом Бриллиантик вырывается вперед и летит вдоль берега до моста в сторону острова. В небе, ниже, есть и другие птицы, большие и маленькие чайки, а ближе к острову — стаи уток. Голуби не останавливаются, вычерчивают круги над покрытой сверкающей рябью поверхностью воды. Трава и камыши клонятся под ветром, на мосту остановились в утренней пробке машины, слышатся автомобильные гудки, утиное кряканье, сигнал поезда, что медленно переезжает реку. Чтобы как-то скрасить долгое ожидание, господин Чо принес с собой на крышу одного из старейших своих питомцев, голубя, который знал еще его матушку и был, возможно, птенцом той, самой первой голубиной пары. Он зовет птицу Чочонгса, «пилот», потому что тот летал раньше высоко-высоко, как самолет. Но теперь он ослеп и не может двигаться из-за артроза, а потому сидит неподвижно в руках у хозяина, вдыхает свежий ветер да ощущает перьями ласковое при-

косновение солнца.

* * *

Саломея хлопала в ладоши. Глаза ее блестели. Она попыталась выразить свои чувства жестами, но левая рука не слушалась ее: вместо лба она коснулась кончика носа и недовольно поморщилась.

«Вам, наверно, хочется теперь немного отдохнуть?» — спросила я.

Саломея высокая и худая, но из-за болезни она сидит скрючившись в кресле-каталке. На тощие ноги наброшен шотландский плед, чтобы не было видно, что она носит памперсы. Тем не менее она умеет над этим пошутить. Она говорит: «Это чтобы никто не видел, что у меня дрожат ноги: я не хочу потерять свое счастье!» Да, верно, я тоже знаю эту легенду, мне нравится, что у нее хватает мужества посмеяться над собой.

Я снова спросила: «Вы, наверно, устали?» — «Нет, все в порядке».

Она поискала повод для недовольства — такой уж у нее характер. И не нашла ничего другого, как потребовать названий:

«Мне очень нравится ваша история. Мне даже кажется, что я сама могу летать над городом,

как голуби господина Чо. Я чувствую себя такой легкой! — Она усмехнулась. — Но я хочу знать названия!»

Я не поняла: «Названия? Какие названия?»

Она нетерпеливо махнула рукой: «Названия мест, ну, там, где они летят, эти ваши голуби. Мне нужны названия!»

И тогда я стала придумывать названия — те, что уже знала в этом городе, и несуществующие, — для мест, которых никогда не видела, разве что во сне.

Черный Дракон и Бриллиантик пролетели над большими домами до реки Ханган, затем промчались над островом Ёыйдо, над белыми правительственными зданиями, над парками, где воскресными днями старички гуляют со своими внуками, потом резко взяли в сторону, и вот они уже пролетают над мостом Сеоган с бегущими по нему миллионами машин, похожих на вереницы насекомых. Голуби не останавливаются там, пролетают над утиным островом, затем возвращаются назад, летят сначала вдоль реки, потом вдоль канала в квартал Мёндон, над отелем «Савой», где улицы забиты пробками, а в переулках еще темно. Потом они пролетают мимо большой горы; Бриллиантик, может,

и рада была бы остановиться на минутку среди растущих на склонах горы сосен, ей нравится запах хвои, ей хотелось бы, чтобы Черный Дракон решился однажды свить гнездо, но тот быстро-быстро машет крыльями, выписывая длинную дугу в сторону Чонногу, к небоскребу книжного магазина «Кёбо мунго»[12]. Потом уже вместе они летят в сторону улицы Инсадон[13], затем к парку дворца Чхангёнгун[14], над Тайным садом, вода в прудах искрится на солнце, в воздухе стоит аромат деревьев, цветов, ветер с гор отбрасывает птиц назад, но вот они уже летят над рынком Тондемун[15], парком Самчхон, и господин Чо, стоя на пыльной крыше, представляет себе, что они сейчас видят: традиционные крыши, покрытые сверкающей на солнце глазурованной черепи-

---

**[12] Сноски: 12**

Крупнейший книжный магазин Кореи. Расположен в районе Кванхвамун в центре Сеула, имеет филиал в районе Каннамгу. Основан в декабре 1980 года.

**[13] Сноски: 13**

Пешеходная улица в центре Сеула.

**[14] Сноски: 14**

Чхангёнгун — дворец в Сеуле. Изначально был летней резиденцией ванов Корё, позднее стал одним из «Пяти больших дворцов» династии Чосон.

**[15] Сноски: 15**

Один из трёх крупных рынков Сеула. Получил название от рядом расположенных ворот Тондемун.

цей, сады, квадратные дворики. Затем птицы возвращаются к дворцу Кёнбоккун[16], к вокзалу и вслед за заходящим солнцем спускаются ниже: день кончается, они устали так долго летать, еще раз описывают круг, облетая здание концерна «Самсунг», и речной, а может быть, солнечный ветер относит их к высокой башне, притулившейся у холма Дракона, к плоской крыше, на которой ждет их господин Чо.

Когда я перечисляла названия мест, на лице Саломеи читалось возбуждение, она закрывала глаза и парила в воздухе вместе с парой голубей, перелетала от улицы к улице, вдыхала речной воздух, слушала разноголосый гул автомобилей, грузовиков, автобусов, металлический лязг несущегося по рельсам поезда неподалеку от вокзала Синчон.

Некоторые названия я придумала: Сонси, Мьёнгжу, Чёнган, Пьёлхэ, Парамгеби, Токхё, Хонгро…

Они ничего не означали, но Саломея верила,

---

**[16] Сноски: 16**

Кёнбоккун — дворцовый комплекс, расположенный на севере Сеула. Был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья, и одним из пяти больших дворцов, возведенных в период Чосон. Построен в 1394 году по проекту корейского сановника Чон Доджона.

что они настоящие. Ее бледные руки впивались в подлокотники кресла, как будто оно вот-вот взлетит, как будто она уже парит под облаками…

Но вот Саломея чуть сползла по спинке своего кресла-каталки, ее закрытые глаза голубеют сквозь белизну век: уснула. Потихоньку, стараясь не шуметь, я встала, взяла конверт с моим именем: *БИТНА*, надписанным крупными неровными буквами, и вложенными в него пятьюдесятью тысячами вон. Затем толкнула дверь квартиры и вышла на улицу.

* * *

Дома в это время дела шли хуже и хуже. Скандалы участились, во многом оттого, что моя дорогая сестра, прелестная Пак Хва, стала по вечерам выходить в свет, встречаться с мальчиками, короче, начала вести рассеянный образ жизни.

«У тебя же есть жизненный опыт, — говорила мне тетушка (что за опыт имела она в виду — не знаю), — ты должна сказать ей, чтобы она прекратила так себя вести, она же в школе больше ничего не делает, говорит даже, что не хочет дальше учиться, что это ни к чему».

Не то чтобы я не пыталась… В сущности, мне даже было немного жаль Пак Хва, эту избалован-

ную девчонку, совершенно не знавшую жизни. Однажды днем я дождалась ее у выхода из школы и отчитала. Мы пошли в кафе «Лавацца» в Хонгик. Она села на террасе, чтобы можно было курить.

— А не рановато ли тебе курить? — спросила я.

— Можно подумать, что ты не куришь.

— В твоем возрасте я еще не курила.

— Какая разница?

Я решила бросить этот разговор. В конце концов, какое мне дело, курит она явно или исподтишка.

— Как хочешь, но ты же в школе ничего не делаешь.

— Ты-то откуда знаешь?

— Слушай, я видела классный журнал, ты же постоянно прогуливаешь, и отметки у тебя ужасные.

— А каким боком тебя касаются мои отметки?

Разговор внезапно перешел на повышенные тона, она пригнулась ко мне, я видела ее расширенные зрачки и надувшиеся от злости вены на висках.

— Ты — никто, деревенщина, поступила в университет и думаешь, что выше всех! Убирайся обратно к себе в Чолладо, лови своих каракатиц!

Вдруг я увидела, какая она уродливая и вульгарная. Слушая ее оскорбления, я не могла отделаться от мысли, что она ужасно похожа на свою мать — то же широкое лицо, скошенный подбородок, низкий лоб, только с разницей в двадцать лет. Все, что она говорила мне, — о возвращении к рыбной ловле, — все это шло от тетушки, она явно говорила то же самое у меня за спиной.

И я решилась. На деньги, полученные от Саломеи, я сняла жилье в другом районе, на холме над Синчоном. У квартиры имелся отдельный вход, и это было очень хорошо: не надо было всякий раз встречаться с хозяйкой. Всего одна комната в полуподвальном помещении со старой раковиной и уборной, отделенными друг от друга полиэтиленовой занавеской. Сыровато, темновато, но здесь я чувствовала себя дома, мне не надо было больше слушать ни нытья двоюродной сестры, ни тетушкиных упреков, ни храпа ее мужа. Я ходила на лекции, покупала себе еду, колу, сигареты и была счастливейшим человеком в мире. Я и представить себе не могла раньше, как это здорово, когда ты одна, совершенно одна и тебе не надо ни с кем общаться. Не понимаю девчонок, которые жалуются, что у них нет подруг, что им одиноко. Они просто не осознают

своего счастья. У меня даже не было потребности завести парня. Ребята, с которыми я знакомилась, казались мне все самовлюбленными идиотами. Какие-то маменькины сыночки, избалованные мамочками, подружками, старшими сестрами, преподами. Ничего их не интересует, кроме собственной персоны, только и знают, что причесываются, душатся да делают селфи, чтобы проверить, как у них лежат волосы. Некоторые подходили ко мне, пытались заливать что-то, но я посылала их подальше. Скажешь такому что-то вроде: «Ну и прыщи у тебя!», или: «Тебе никто не говорил, что от тебя воняет?», или еще: «Где ты откопал эту куртку? Ты в ней на водопроводчика похож!» — и он тут же сдувается и уходит. Они всегда напоминают мне мошенников, которые пристают к людям, начинают нести что-то о потустороннем мире, и все это только чтобы заманить их в глухое место за городом и ограбить!

Единственный человек, с кем мне хотелось увидеться снова, была Саломея. Не потому что она наняла меня, чтобы я рассказывала ей разные истории, а потому что так их слушала: она словно пила мои слова, а глаза ее излучали всю энергию, содержавшуюся в хилом тельце. Как-то утром она позвонила мне сама. Я была на лекции,

увидела знакомый номер, высветившийся на экране, но не перезвонила. В обеденный перерыв, когда я ела в столовой свой супчик, она позвонила снова.

— Моши-моши[17]? (Она сама обычно так отвечала.)

— Вы мне нужны, я хочу услышать продолжение вашей истории. Почему вы мне не звоните?

— Я была занята в институте, мне поручили организовать семинар по переводу.

Я сказала правду, хотя больше была занята переездом на новую квартиру. Но об этом я не могла сказать ей, ведь мы договорились никогда не разговаривать о реальной жизни, и мне это очень нравится, я считаю, что люди слишком много болтают о своих житейских заботах, которые никому, кроме них самих, не интересны. У Саломеи были огромные проблемы со здоровьем, но она заикнулась об этом один только раз, чтобы пояснить, что не может ходить и что к ней два раза в день приходят медсестры, чтобы переодеть ее и умыть. Ей хотелось, чтобы я поняла, почему она не провожает меня до двери. Раньше у меня

**[17] Сноски: 17**

Моши-моши (*яп. фам.* moshi-moshi) — японский ответ на телефонный звонок, принятый среди близких знакомых и употребляющийся не только в Японии.

не было знакомых в таком состоянии. Моя бабушка перед самой смертью и то могла ходить, хотя и согнувшись в три погибели, и даже выходила во двор, чтобы покормить кур.

— Жду вас сегодня, вы ведь придете?

Я не колеблясь ответила:

— Сегодня в пять.

— Ах, Битна, вы — ангел.

Она сказала это по-английски, а через мгновение я получила на телефон человечка с нимбом из птичек, которые кружились у него над головой.

Я села в автобус и поехала к ней, на улицу рядом с французским лицеем, в южной части города. Ярко светило солнце, и я поняла, что никогда раньше не замечала, в каком красивом районе она живет: небольшие шикарные домики среди садов, современные виллы. Когда я проходила мимо ворот, за заборами яростно лаяли собаки. Прохожие явно не часто забредают в этот квартал, тут совсем не так, как на холмах над Синчоном, где почти все ходят пешком, а некоторые тащат за собой тележки с овощами или толкают тачки со старыми картонными коробками. В квартале у Саломеи — до сих пор

я была там всего один раз — даже машины выглядят так, будто они никогда не двигаются. Стоят себе аккуратно на специально размеченных площадках. Перед входом в дом Саломеи я как будто узнала одну машину, серую «Киа», которую припарковала у стены одна из медсестер. В этом было что-то успокаивающее, но, как и всё, что никогда не меняется, это нагоняло определенную тоску, и я чуть не развернулась и не ушла. Но голос Саломеи, низкий голос, которым она говорила: «Дальше, расскажите, что было дальше, пожалуйста», придал мне смелости, и я позвонила в дверь. Меня впустила медсестра, я сняла кроссовки и надела тапочки, которые она дала. Сестра ничего не сказала, главное, она не сказала «Госпожа Саломея ждет вас»: это Саломея так велела — никогда не говорить пустых, банальных фраз. Молчание.

Предвечернее солнце ярко освещало комнату, я была рада, что выбрала именно этот час: мне не хотелось бы находиться здесь в темное холодное время, вдыхать запах болезни. Сейчас же, наоборот, в комнате пахло жасминовым чаем, его приготовила медсестра, и теперь он дымился на ломберном столике рядом с Саломеей. В этом было что-то от ритуала — хотя я пила здесь чай

лишь второй раз — а мне нравится все, что похоже на ритуал. Внезапно мне захотелось начать рассказывать, у меня даже задрожали руки от нетерпения. Возможно, это выглядит самонадеянно, но, когда я подходила к дому Саломеи, мне казалось, что это мое предназначение, моя судьба — дать ей ощутить настоящую жизнь. И мне нравилось это, потому что в тот миг, когда я переступала порог ее дома, я не имела ни малейшего представления о том, про что буду ей рассказывать: продолжение про господина Чо или про мадемуазель Китти, а может, придумаю историю про убийцу. Я решила, что сегодня будет Китти.

# Вторая история, рассказанная Саломее

**Май 2016 года**

Китти пришла в салон красоты рано утром, когда госпожа Лим приготавливала для посетительниц кресла, чистое белье, инструменты и большой чайник с зеленым чаем. Салон у госпожи Лим небольшой, но все в нем прекрасно организовано для приема дам, желающих сделать прическу, покрасить или завить волосы. Клиентура у нее не слишком разнообразна, в основном это женщины среднего возраста, госпожа Лим знает их имена, фамилии и даже кое-какие секреты, которыми обычно делятся с парикмахерами и маникюршами. Поэтому появление Китти в салоне госпожи Лим выглядело странным и непредвиденным. На тот момент никто не знал ни ее, ни как ее зовут. Только позже, через месяц или два, возникло это имя — Китти, может быть, из-за японской куклы или потому что госпожа Лим услышала его от кого-то. Своим появлением мадемуазель Китти взбудоражила весь салон. Две

парикмахерши госпожи Лим, Чо Ын и Йери, долго строили различные предположения, основанные исключительно на эмоциях и начисто лишенные логики: «Она такая худая, наверно, она с Севера, из деревни. Нет, не может быть, чтобы она пришла так издалека, лично я бы сказала, что она городская, смотрите, она ничего не боится, идет прямо к нам, как будто знает этот квартал. Городская! Вы-то сами, девушка из Йонволя[18], можете вообще отличить одно от другого? Во всяком случае, она в полном порядке, вы видели, какой у нее мех? Прекрасного серого цвета, ни единого пятнышка, уж точно она не топталась по деревенской грязи. И потом, она хорошо знает квартал, должно быть, живет тут, рядом, в высотном доме — «Good Luck!». А может, она из того фастфуда? Или из игорного притона? Из притона! Скажете тоже! Что ей там делать среди всех этих пьяниц? Я, конечно, не уверена, но мне кажется, что я ее уже однажды видела — неподалеку от христианской церкви, ею там наверняка пастор занимается, меня бы это не удивило, у нее такой задумчивый вид! Это вы несете всякую чушь —

**[18] Сноски: 18**
Йонволь — уезд в провинции Канвондо, Южная Корея.

почему тогда не буддистка из храма Чогеса[19] или с горы Намсан[20], раз уж на то пошло! Что ей тогда было бы делать здесь? Наш салон не для шикарных дам, он именно для местных теток, что, неправда? Ишь разболтались, прервала их беседу госпожа Лим, сплетницы какие! Давайте-давайте, за работу, белье надо постирать, ножницы, пилки привести в порядок, я вам не за то плачу, чтобы вы тут несли всякий вздор про нашу посетительницу, нашу странницу».

Так вот как ее звали: не Китти, не Келли — ничего подобного. Ее звали Странница. И это имя очень ей подходило.

*«Вы меня знаете?», «Вам известно, как меня зовут и где я живу?», «Если кто-то прочтет эту записку, просьба ответить тем же способом», «Просьба позвонить по телефону 10 2…»* (дальше следовал номер, который я не стану называть

---

**[19] Сноски: 19**

Храм Чогеса — буддистский храм, расположенный в центральной части Сеула, главный центр корейского дзен-буддизма. Создан в 1920 г. (во времена правления династии Чосон буддистские храмы были запрещены). Чогеса принадлежит ордену Чоге, основанному монахом Чинулем. Это крупнейший орден в Корее, управляющий более чем 1500 храмами.

**[20] Сноски: 20**

На каменных склонах горы Намсан высечено множество буддистских изображений. Самый известный образец такого искусства — Камень Будды, расположенный в долине Тапколь и состоящий из трех каменных стен, украшенных изображениями Будды и его учеников.

полностью, чтобы не стать причиной неуместных и, возможно, оскорбительных звонков). Записку такого рода Странница носила в висевшем у нее на шее мешочке — плетеном соломенном мешочке, даже скорее не мешочке, а кошелечке. Это была идея госпожи Лим. Не то чтобы хозяйку салона действительно интересовали происхождение этой Странницы и ее злоключения, но окутывавшая незнакомку тайна, нечто темное, почти зловещее, что напридумывала себе госпожа Лим, будило ее любопытство. Она не верила в случайности — ни в чем. Все имеет свою причину, смысл и конечную цель, считала она. И если какая-то там Странница в один прекрасный день появилась в ее квартале, в ее магазине у подножия дома «Good Luck!», это не могло не означать какой-то перемены в уже установленном порядке, помех в эфире, результатом которых станет в конце концов нечто непредсказуемое и в то же время пугающее. «Откуда-то же она приходит, — рассуждала госпожа Лим перед своими подчиненными. — Или кто-то ее к нам присылает?» — «Вот вы бы у нее самой спросили», — пошутила одна клиентка, полная женщина лет пятидесяти, которая регулярно приходила делать завивку и которую госпожа

Лим недолюбливала, поскольку та была не только женой пастора из соседней церкви, но еще и скупердяйкой и все время торговалась, особенно когда речь заходила о массаже ее толстой шеи, который она всегда требовала сделать ей после завивки, как будто это было в порядке вещей. «Представьте себе, это я и собираюсь сделать», — отрéзала госпожа Лим. В этот день ей и пришла мысль класть записки в плетеный мешочек.

В течение нескольких недель мешочек на шее у Странницы хранил свою тайну. Записки оставались без ответа. Но вот в один прекрасный день, когда госпожа Лим и думать об этом забыла, Китти вернулась. Без малейшего страха вошла она в салон, словно всех тут знала, и, усевшись на кресло, обитое черным молескином, стала ждать, когда ею займутся, словно для нее это было обычное дело. Госпожа Лим пребывала в страшном волнении. Она никого и близко не подпустила к Страннице. У нее была приготовлена для нее еда: рисовые шарики и рыба, и она поставила перед мадемуазель Китти тарелку. «Вы, вероятно, проголодались, вы ведь проделали такой путь, так что сначала закусите, а потом можно будет немного и побеседовать». «Побеседовать» — это было слишком громко сказано, потому что гос-

пожа Лим ни на какой разговор особенно и не рассчитывала. Она оставила Странницу трапезничать, а сама пошла делать укладку очередной клиентке, чуть глуховатой даме, которой взбрело в голову покраситься в голубой цвет. Остальные парикмахерши госпожи Лим тоже занимались своей работой, то и дело искоса поглядывая, что поделывает мадемуазель Китти. Та же спокойно, не торопясь ела из тарелки. «А она не голодна», — подумала госпожа Лим. Это доказывало, что она не простая бродяжка, что у нее, должно быть, есть свой дом, свои привычки, есть кто-то, кто о ней заботится. Это успокаивало госпожу Лим и в то же время еще больше разжигало ее любопытство. Как может кто-то, кто ни в чем не нуждается, у кого есть дом, кого окружают любящие существа, заявиться вот так в парикмахерскую, усесться в кресло и ждать своей очереди? У нее даже мурашки по коже побежали, когда она вдруг представила себе, что Странница совсем не та, кем казалась, что она — человек, прибывший издалека, кто-то, кто знал ее лично, и вот теперь, после долгих лет забвения, вернулся на прежнее место. Ей не терпелось закончить подготовку дамы к покраске в голубой цвет и, нахлобучив на нее полиэтиленовый чепец, оставить дожидать-

ся, когда подействует краска, а самой побежать к креслу в конце зала, чтобы поговорить со Странницей. Та же не проявляла никакого нетерпения. Поев рисовых шариков, она лениво зевнула и вроде бы задремала на кресле, прислонившись головой к подушке спинки и прикрыв веки, из-под которых поблескивали желтизной ее глаза. Госпожа Лим так спешила, что не вытерла руки, и когда она протянула пальцы к шее мадемуазель Китти, та отпрянула: ей не понравился уксусный запах краски для волос. «Ах, простите, барышня, — сказала госпожа Лим. — Я знаю, запах не из приятных, сейчас помою руки». Что она и проделала весьма старательно в умывальнике перед креслом. Затем, не зная, какую занять позицию, она присела у кресла на корточки — так, чтобы лицо ее находилось на одном уровне с глазами мадемуазель Китти. «Посмотрим, что за послание вы мне принесли». Она осторожно сняла с шеи Странницы плетеный мешочек и открыла его. Сердце чуть не выпрыгнуло у нее из груди, когда она обнаружила в мешочке сложенный вчетверо листок бумаги — это была совсем не та записка, которую она положила туда несколько дней назад. На тонкой бумаге чуть сиреневатого оттенка детским почерком были написаны фломастером

несколько слов.

*Я нахожусь на пятнадцатом этаже большого дома. У меня нет ни имени, ни семьи. Кто я?*

В этот миг подбежали остальные парикмахерши и, обступив госпожу Лим, стали пытаться прочесть записку через ее плечо. Но госпожа Лим не позволила им этого сделать. Она выпрямилась, аккуратно сложила листок и спрятала в карман своего передника.

«Так что же все-таки там написано?» — спросила Юн, самая молоденькая. «Да, какой ответ она принесла?» — подхватили остальные. Даже пожилая дама с голубыми волосами подошла в своем полиэтиленовом чепце: «Что тут такое происходит, в конце концов?» Одна из парикмахерш попыталась объяснить: «Все хорошо, мадам, просто пришел ответ». Дама возмутилась: «Все хорошо, все хорошо… Но меня-то вы покрасите или нет?» Мадемуазель Китти, ставшая объектом столь пристального внимания, казалось, нимало не была этим обеспокоена. Она томно потянулась, положила изящную головку на другой подлокотник и стала смотреть в другую сторону.

Так она и продремала в кресле все утро и часть дня. Когда пришло время закрывать салон, госпожа Лим решила написать еще одно послание.

Парикмахерши ушли, предварительно сложив инструменты и подметя пол в салоне. На улице смеркалось, зажигались огни, слышалось мягкое урчание машин: жители большого дома возвращались после рабочего дня. Торговец апельсинами, расположившись с трехколесной тележкой на углу проспекта, расхваливал свой товар через потрескивавший громкоговоритель.

Госпожа Лим написала записку. Немного поразмыслив, она решила, что пора назвать имя:

*Китти*

*Я нахожусь в салоне причесок на нижнем этаже жилого комплекса «Good Luck!».*

*Если вы меня знаете, сообщите, пожалуйста. Спасибо.*

После этого она положила сложенный листок бумаги в плетеный мешочек, вдела шнурок в петельку и стала ждать. Странница, казалось, только этого и ждала: она тут же слезла с кресла, направилась к выходу, потопталась на тротуаре, словно не решаясь, в какую сторону пойти, и в мгновенье ока исчезла. Госпожа Лим бросилась к двери, чтобы проследить, куда направилась посланница, но та уже скрылась за кустами, высаженными у входа в дом. У нее даже защемило сердце, словно ей не суждено было

никогда больше с ней увидеться, словно мадемуазель Китти в последний раз побывала в салоне причесок. В тот вечер, вернувшись домой к мужу и дочке, госпожа Лим ничего не стала рассказывать им. Это был ее секрет, поделишься им с кем-нибудь, думала она, и все пропало; это как зыбкое сновидение, которое стирается из памяти, как только ты начинаешь облекать его в слова.

* * *

Уже далеко за полдень, солнце освещает теперь лишь одну стену в глубине комнаты, там, где Саломея повесила раму желтого дерева, в которой собрала все семейные фотографии. Я не решилась остановиться у этой рамы, но заметила портрет дамы в строгом костюме, высокой и суровой с виду, позирующей в фотоателье на фоне пейзажа с водопадами и руинами. Мне даже подумалось, что можно будет как-нибудь сочинить историю про эту даму — путешественницу вроде Китти, жившую когда-то давно в Австралии и погибшую во время кораблекрушения. Мне кажется, что это очень романтично — погибнуть во время кораблекрушения, хотя, если поразмыслить, это должно быть ужасно — утонуть. Но мне надо еще многое обдумать с Китти.

Саломея попросила еще чая с жасмином, и, поскольку медсестра не отзывается (должно быть, у нее сейчас как раз пересменка), я сама подогреваю воду на маленьком письменном столе у окна и разливаю чай по чашкам. Чашки совершенно обыкновенные, из тех, что воруют в университетской столовой, грубые, без рисунка, но мне кажется, что для Саломеи они означают что-то очень важное.

Она говорит: «Расскажите мне о Китти!» И добавляет: «А потом вы продолжите историю про голубей господина Чо, правда?»

Она пьет чай маленькими глотками, левая рука у нее дрожит, а правая лежит на животе, как будто совсем не действует. Саломея поймала мой взгляд и просто сказала: «С этим мне труднее всего примириться, знаете ли». Она пытается шутить, строит гримасу, но у нее не получается: «Ухожу по частям — каждый день что-то отказывает, перестает работать, отмирает».

Я ничего не отвечаю, мне кажется, что такой человек, как Саломея, не нуждается в словах утешения, и в жалости тоже не нуждается. Только в сказках, которые помогают ей странствовать по свету.

И вот каждое утро госпожа Лим ждет появления

мадемуазель Китти. Бывают дни, когда она совсем не приходит, и тогда госпоже Лим кажется, что день тянется страшно долго: парикмахерши со своей болтовней, клиентки с вечным нытьем: «Ах, если б вы только знали, мой сын такая злюка, мне иногда кажется, что он меня побьет». Или: «Мой муж скоро выходит на пенсию, он хочет путешествовать, побывать в Маниле, в Дубае, в Бомбее, все считают, что мне страшно повезло, но мне это совершенно ни к чему, честно говоря, я предпочла бы сидеть дома и поливать грядки». Госпоже Лим абсолютно наплевать на них с их путешествиями, сыновьями и мужьями. У нее и своих забот предостаточно. Тогда она думает о Китти, о том, какой ответ принесет она в своем плетеном мешочке. А когда ответ приходит, она уже не в силах ждать. Быстро покончив с укладками, покрасками, косметическими процедурами и массажами волосистой части головы, она опускает металлические шторы и идет к мадемуазель Китти.

— Что ты мне принесла? Ну-ка, ну-ка…

Мадемуазель Китти вытягивает шею, и госпожа Лим осторожно развязывает ленточку, на которой висит мешочек. Внутри — белый бумажный листок, на котором написано: *Я тоже дружу со*

*Странницей.*

* * *

Госпожа Лим торопливо набрасывает ответ:

*Тогда приходите ко мне в гости в салон причесок на первом этаже здания.*

Она снова завязывает мешочек, и мадемуазель Китти тут же уходит: три прыжка — и она уже на улице, пробирается среди кустов. Она даже не потребовала обычного угощения — блюдца с рыбой и чашки с водой.

На следующий день она возвращается и приносит уже другую записку, написанную другим почерком:

*Я тоже дружу с ней, но я в этом доме не живу, а только прихожу гладить белье к одной пожилой паре.*

Госпожа Лим:

*Кто-нибудь знает, где она живет?*

Ответ:

*Я — нет, думаю, что она приходит с первого этажа, ко мне она поднимается на лифте.*

Через два дня новое послание:

*Кто знает, чего она хочет? Почему путешествует?*

Получив язвительный ответ, госпожа Лим сра-

зу подумала о ворчливом неопрятном старике с первого этажа, очевидно, работавшем в этом здании консьержем:

*Ей-то самой хочется знать, кто она такая? Нет? Так и оставьте ее в покое!*

И хотя эти слова исходили от старого полусумасшедшего пьяницы, они прочно засели в голове госпожи Лим, превратившись чуть ли не в навязчивую идею. *Ей хочется знать, кто она такая.* Возвращаясь домой после работы, она больше не садилась перед телевизором смотреть любимые сериалы, а уходила в кухню и думала. Мужа это обеспокоило:

— Что происходит? У тебя неприятности? Денежные затруднения?

Господин Кан, муж госпожи Лим, не обладал богатым воображением. Для него все сводилось к денежным вопросам или к проблемам со здоровьем. И поскольку на вопрос о деньгах госпожа Лим не ответила, он вообразил, что причина ее странного поведения еще серьезнее:

— Дорогая, почему ты не идешь к телевизору? Сейчас «Дикая роза» начнется!

Госпожа Лим пожала плечами:

— Оставь меня, мне надо подумать.

— Подумать?

Господин Кан решил, что ослышался:

— У тебя что-то болит? Ты была у врача?

Три или четыре года назад госпожа Лим обнаружила у себя под правой грудью какое-то новообразование, биопсия показала, что это обыкновенный жировик, но супругам пришлось прожить несколько недель в страшной тревоге. Господин Кан, который был на несколько лет старше своей жены, даже придумал тогда для разрядки шутку, правда, она не сработала:

*В Сеуле столько вдов, что я просто не могу быть как все, — заявил он. — Так что ты умрешь первой.*

Госпожа Лим улыбнулась.

— Нет-нет, дорогой, не волнуйся, я прекрасно себя чувствую. Это все Китти…

Она уже рассказывала ему про нее пару раз, но господина Кана эта история мало интересовала.

— Ну, и что с ней такое, с этой Китти?

Госпожа Лим помедлила с ответом. В этом деле муж был для нее не лучшим собеседником.

— Я подумала, что она не просто так ходит к нам в салон.

— Как это — не просто так? Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать… — начала госпожа Лим. Но ей

было не подобрать нужных слов. — От ее взгляда у меня возникает какое-то странное чувство. Не знаю почему, но мне становится не по себе, она так смотрит, как будто хочет что-то сказать.

Господин Кан не верил в это:

— Странная идея… Что она может тебе сказать?

И в доказательство того, что он ничего не понял, добавил:

— Если Китти тебе мешает, выгони ее из салона и всё.

Он вернулся к телевизору и, поскольку жена не стала смотреть сериал, переключил на другую программу, где в режиме нон-стоп шли последние политические новости под комментарии журналиста с разочарованной физиономией.

Ночью госпожа Лим просыпалась с ощущением, что разгадала хотя бы часть тайны, но это чувство рассеивалось, как только она всерьез задумывалась над ним.

Мадемуазель Китти появилась не случайно. Ее кто-то прислал. Она приносила послания, но послания эти не значили ничего особенного, если только, разгуливая по кварталу от одного к другому, Странница не начинала плести сеть взаимоотношений между прежде не знакомыми

друг с другом людьми.

А потом произошла та история с госпожой Янг Ю Ми, жившей на шестом этаже в корпусе Б.

Госпожа Лим знала ее, потому что та как-то заходила в салон, — не для того чтобы сделать завивку, а чтобы спросить, нет ли для нее работы. Ее муж исчез, не оставив даже адреса, и этой женщине надо было как-то жить, потому что ее единственный сын, попав в аварию, стал инвалидом и не мог больше зарабатывать на жизнь. Госпожа Лим посочувствовала госпоже Ян, но взять ее к себе на работу она не могла, да и найти ей какое-то другое место тоже. Она дала ей немного денег, от которых госпожа Янг не отказалась и униженно поблагодарила ее за них. С тех пор госпожа Лим ничего о ней не слышала, но подозревала, что положение этой женщины вряд ли улучшилось. И вот однажды днем, часа в четыре, в салон пришла мадемуазель Китти и принесла записку от госпожи Ян. Красными буквами на вырванном из блокнота листке было написано:

*Надеюсь снова встретиться с Вами в будущей жизни, прошу Вас.*

*Янг Ю Ми, 6-й этаж, корпус Б*

Едва прочитав это сообщение, госпожа Лим тут же закрыла салон, не потушив даже свет

и не выключив фены. Вместе со своими парикмахершами она помчалась к корпусу Б жилого комплекса «*Good Luck!*» *и влетела в подъезд. Лифт стоял на последнем этаже, и им пришлось несколько минут подождать. Входя в лифт, госпожа Лим увидела, что Китти пришла вместе с ними и ждала у двери. По всему было видно, что она отлично знает дорогу. Может, это госпожа Янг Ю Ми послала ее? На шестом этаже госпожа Лим немного помедлила: в какую дверь постучать? Справа, слева или в ту, что посередине? Нужную дверь указала ей Китти, и госпожа Лим принялась барабанить в нее. Она стучала, потом слушала. Внутри, в квартире, слышались какие-то звуки: то ли стоны, то ли рыдания.*

— Откройте! — кричала госпожа Лим. — Мы пришли помочь вам, откройте дверь!

В приоткрытую дверь выглянул сосед.

— Может, лучше вызвать полицию? — холодно спросил он.

Не обращая на него внимания, госпожа Лим продолжала барабанить в дверь. Дверь была обыкновенная, фанерная, с наклеенной у самой ручки переводной картинкой, изображающей не то дракона, не то феникса — что-то в этом роде.

— Госпожа Янг Ю Ми! Госпожа Янг, откройте,

мы пришли вам помочь. Я госпожа Лим из салона красоты, я пришла со своими девушками, мы с вами уже встречались. Откройте, пожалуйста!

Через мгновение в квартире послышалась какая-то возня, и госпожа Лим услышала щелчок щеколды. Затем дверь медленно приоткрылась, как будто внутри кто-то тянул на себя что-то очень тяжелое. В этот миг мадемуазель Китти проскользнула в квартиру, и госпожа Лим услышала, как госпожа Ян воскликнула:

— Ах, это ты! Вернулась? Ну, спасибо, спасибо тебе!

Она поняла, что слова эти могли быть адресованы только Страннице — мадемуазель Китти, и даже почувствовала от этого некоторое разочарование, о котором тут же позабыла.

Госпожа Лим оставила обеих парикмахерш у входа в квартиру, ей не хотелось лишних свидетелей. Внутри было темно, шторы опущены. Пол усеян газетами, какими-то бумагами, маленький коридор завален мешками с мусором, а гостиная выглядела так, будто в ней побывали грабители. Все было разбросано, стулья опрокинуты, на полу

валялись бутылки из-под соджу[21] и грязные тарелки, а скомканное одеяло у окна указывало на место, где госпожа Янг спала. Госпожа Лим хотела включить свет, но счетчик был, похоже, отключен, вероятно, за неуплату. Привыкнув немного к полумраку, она заметила госпожу Янг. Та сидела на полу, прислонившись спиной к стене, положив руки на колени и наклонив вперед голову, — как будто читала что-то, лежавшее на полу. Если бы госпожа Ян только что не открыла собственноручно дверь, госпожа Лим подумала бы, что та мертва. Холодок ужаса пробежал по спине госпожи Лим, словно она столкнулась с чем-то сверхъестественным.

Госпожа Лим села рядом с госпожой Ян, чтобы поговорить:

— Госпожа Янг Ю Ми! Госпожа Янг Ю Ми! Вам плохо? Что-то не так?

Однако и без того было ясно, что тут всё не так. В квартире стоял сильный запах алкоголя, в полумраке таилось что-то тревожное, смертельно опасное. В конце концов парикмахерши госпожи

---

**[21] Сноски: 21**

Соджу — традиционный корейский алкогольный напиток. Объемная доля спирта может составлять от 18 % до 45 % (наиболее популярный вариант 20 %). Изготавливается в основном из сладкого картофеля или из зерна. Представляет собой прозрачную жидкость с характерным запахом спирта, сладковатую на вкус.

Лим тоже вошли в квартиру, и в этот момент она увидела, как желтой полоской мадемуазель Китти крадучись выходит за дверь.

— Откройте шторы! — велела госпожа Лим.

Поток света залил комнатку, осветив царивший в ней беспорядок и заставив госпожу Янг опустить голову, спрятав лицо за волосами, как будто солнце слепило глаза. Ее вцепившиеся в седые волосы руки были очень бледны.

Остаток вечера женщины провели у госпожи Янг, окружая ее заботой, то и дело предлагая ей попить. Одна из парикмахерш, та, что постарше, начала прибираться в квартирке, складывать в кучи все, что предстояло выбросить вон, о чем надо было забыть. Госпожа Ян не сопротивлялась, она лежала на полу, широко раскрыв рот, словно только что, вынырнув на поверхность из пучины и не могла надышаться. Она ничего не говорила, во всяком случае ничего внятного, но было очевидно, что она хотела умереть, открыв газ на кухне или наглотавшись хлорки (у двери стояла полупустая канистра с открученной пробкой). А может, она собиралась выброситься из окна, потому что дверь на маленький балкон была приоткрыта. Весь вечер и даже часть ночи женщины провели вместе. Позвонил господин

Кан, а потом и пришел. На этот раз он выглядел довольно взволнованным. Он принес госпоже Янг горшочек с цветами — полураспустившимися желтыми нарциссами, и госпожа Янг посмотрела на них так, будто на свете не было ничего прекраснее.

Жизнь пошла своим чередом, но госпожа Лим по-прежнему навещала госпожу Янг. В конце концов она нашла ей небольшую работу в швейной мастерской неподалеку от комплекса «Good Luck!». Женщины словно поклялись друг другу постоянно обмениваться весточками. Быть вместе даже тогда, когда им ничто не угрожало. Беседовать, отправлять друг другу сообщения с мобильных телефонов, время от времени даже навещать друг друга. Единственное, что огорчало госпожу Лим (а вместе с ней и всех в округе), это то, что после того знаменательного вечера, когда госпожа Ян решила умереть, мадемуазель Китти исчезла. Она больше не появлялась в салоне причесок и не приносила записок. Господин Кан объяснил это тем, что она в конце концов нашла себе другое местечко, поспокойнее, где не разыгрывались такие драмы. Кошки любят покой, это всем известно. Но госпожа Лим думала, что тут должна быть иная причина, пусть

несколько безумная, но многое объясняющая: мадемуазель Китти — Странница — не обыкновенная кошка. Она — божество, призрак или что-то в этом роде. Если бы госпожа Лим была христианкой, она сказала бы, что это — ангел или (если бы мадемуазель Китти родилась не белой, а черной) демон. Но госпоже Лим был ближе буддизм, а потому для нее все это означало, что мадемуазель Китти действительно была Странницей, что она странствовала через жизни, через миры, исполняя свою миссию, исправляя что-то в чужих жизнях, возможно, во искупление ошибки, совершенной ею в молодости, когда она позволила умереть от горя своей младшей сестре; госпожа Лим вспомнила, что слышала уже эту историю, дело происходило не в жилом комплексе «Good Luck!», не в корпусе Б, об этом говорили по телевизору, или это было напечатано в газетах, что-то про певицу, которую нашли повесившейся у нее в квартире среди страшного беспорядка и пустых бутылок из-под соджу. А может, это все выдумки, легенда, одна из тех, что появляются в этом городе, где каждую минуту происходит множество разных вещей, странных, прекрасных или ужасных — на любой вкус.

* * *

Я перестала навещать Саломею. Нет, я не забыла ее, но учеба в университете и семинары, организацией которых я должна была заниматься три раза в неделю, съедали всё мое время. К конверту с пятьюдесятью тысячами вон я так и не притронулась, может быть потому, что считала себя обязанной продолжить начатое, а может, из-за женщины, изображенной на купюрах, высокой и немного печальной, которая напоминала мне Саломею. Эти деньги будто говорили мне: «Не забывай меня! Приди, проведай меня!» Мне даже слышался ее низкий голос: «Не будь жестокой!» Денег, которые я получала за семинары, хватало на оплату жилья, а в остальном я как-то сводила концы с концами, употребляя в пищу главным образом рамин[22] и кимчхи[23]. Моя бабушка, помню, утверждала, что питаясь одним только кимчхи — утром, днем и вечером, — вполне можно прожить. На такой

**[22] Сноски: 22**

Рамин (или шин рамин) — корейская лапша быстрого приготовления.

**[23] Сноски: 23**

Кимчхи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту.

диете, рассказывала она, и сидели люди, когда, заподозрив жителей провинции Чолладо в прокоммунистических настроениях, правительство Ли Сын Мана[24] стало морить их голодом.

А еще в моей жизни произошло что-то новое. Как-то, проводя вечер с друзьями, я встретила господина Пака, того самого молодого человека из книжного магазина в Чонногу, и мы с ним стали иногда встречаться по вечерам. Я узнала его имя: звали его вовсе не господин Пак, а господин Ко, потому что родом он был с острова Чеджудо[25]. Правда, я продолжала звать его именем, которое сама придумала, чтобы не переучиваться: сам-то он взял себе христианское имя Фредерик, в честь Фредерика Шопена, потому что очень любил фортепьянную музыку.

Естественно, он рассказал мне кое-что о Саломее. Знал он ее не очень хорошо; по его словам, они познакомились, когда он принес ей заказанные в магазине книги — романы на английском

---

**[24] Сноски: 24**

Ли Сын Ман (1875–1965) — первый глава Временного правительства Республики Корея в изгнании, а также первый президент Республики Корея (Южная Корея).

**[25] Сноски: 25**

Чеджудо — самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи. Был известен европейцам под названием остров Квельпарт.

и французском языках, научные издания по медицине, по психологии. Разговаривая с ней, господин Пак понял, что я могла бы стать ее компаньонкой — не для бесед, не для того, чтобы менять ее образ мыслей, а чтобы разделить с ней вымышленный мир, в котором она жила. Когда человек болен, говорил господин Пак, мир вокруг него становится полностью вымышленным, — и я думаю, что он прав. И днем, и ночью я постоянно видела его лицо и ничего не могла с этим поделать. Мне нравилось в нем всё, особенно миндалевидные глаза, черные-черные и блестящие, в обрамлении ровных ресниц, и брови (я помню, как мама говорила, что самое красивое, что только может быть в красивом юноше, это брови) — изящно выгнутые, словно нарисованные углем. Мне нравился цвет его кожи, смуглой, почти красной, его коротко подстриженные волосы, сильные руки с длинными пальцами, заканчивавшимися прямоугольными ногтями: однажды он признался, что ему не хватает терпения придавать им округлую форму, что он просто подстригает их щипчиками в три приема — щелк, щелк, щелк!

У нас вошло в привычку встречаться несколько раз в неделю — по выходным или когда он рано

заканчивал работу в Чонногу. Каждый раз мы решали, куда пойдем сегодня: на берег озера, в парк в центре или, если погода была хорошая, в зоосад на юге города. Я всегда любила зоопарки — не из-за зверей, сидящих в клетках (хорошо помню, как, когда я была маленькая, я торжественно поклялась, что когда-нибудь открою все клетки во всех зоопарках и выпущу на свободу этих узников, которые не сделали никому ничего плохого!), а скорее из-за самого парка с его извилистыми аллеями, обсаженными пальмами и камелиями, из-за прогуливающихся по ним людей, детей, которые бегают и кричат, и старушек, пытающихся поймать их, чтобы покормить, и, конечно же, из-за влюбленных парочек, сидящих тут и там в укромных, тенистых уголках.

Теперь я тоже ходила туда гулять с молодым человеком. Мы чинно бродили рядом по аллеям, не разговаривая ни о чем серьезном, — просто болтали как все влюбленные, которые обмениваются банальностями в стремлении лучше узнать друг друга.

— Фредерик, а правда, — говорила я, называя его теперь английским именем, — правда, что влюбленных всегда притягивает вода?

— Откуда вы знаете?

— Я не знаю, — отвечала я. — Я никогда не была влюблена.

И подумав, добавляла:

— Мне кажется, что в этом есть доля истины, потому что вода — это романтичная стихия. Во всех историях про любовь есть вода, или река, или озеро, или хотя бы пруд.

— Бассейн тоже подходит, — шутил Фредерик.

Я не решилась сказать тогда, что мне хочется, чтобы Фредерик отвез меня на морской берег, потому что в Сеуле, в этом огромном городе, такая сушь — одни дома, дороги, машины и автобусы.

В зоопарке мы доходили до вольера с зелеными обезьянками, потому что обезьянки, пусть даже запертые в клетке, это весело: они дерутся, кричат, занимаются любовью, воруют друг у друга еду — прямо как люди. Они и в городе могли бы так жить!

Мы шагали к центру сада, мне очень хотелось взять Фредерика за руку, но я не решалась. Над деревьями стояли крики птиц и обезьян, и от этого казалось, что я — во сне, огорчения реальной жизни, злоба, царившая в доме моей тетушки и ее кошмарной доченьки, — все это было так далеко.

Мы снимали немного на телефон Фредерика —

дурацкие фото, как у всех, селфи, на которых мы стоим щека к щеке, а я складываю пальцы в форме буквы «V» или сердечка, сама не знаю зачем. Потом он добавлял на эти фото разные изображения — сердца, облачка, внутри которых, конечно же, было написано «Sarang[26]». А на одной фотографии он сделал чудесную надпись (такого мне никто никогда не писал):

*Битна, моя звездочка.*

А я вспоминала, как мама рассказывала, что имя мне выбрал мой дед по материнской линии: он хотел, чтобы я всегда блистала — и снаружи, и изнутри.

Мы оставались в зоопарке до закрытия, просто ходили по аллеям среди других посетителей, слушали, как кричат дети, обезьянки и попугаи. Впервые за долгое время я чувствовала себя свободной. Я делала всякие глупости: качалась на детских качелях, бегала вокруг фонтанов, распевала песни Коми[27], Эда Ширана или еще кого-то там. Никогда не думала, что способна

---

**[26] Сноски: 26**

Любовь (*кор.*).

**[27] Сноски: 27**

Певица Gummy, читается как «Коми», что в переводе с корейского означает «паук». Иногда ее зовут просто — Паучиха.

на такое. Ему же нравилась прекрасная фортепьянная музыка, симфонии и песни Шуберта, а потому он смущался, и как раз это меня больше всего и веселило. Фредерик всегда был немного чопорным, даже в джинсах и куртке он выглядел так, будто на нем строгий костюм-тройка. Но мне и это в нем нравилось, мне вовсе не хотелось бы, чтобы он стал похож на этих маменькиных сыночков, которые душатся и поливают волосы лаком. С господином Паком мне было спокойно, видно было, что он знает, чего хочет в этой жизни. Этим он в корне отличался от меня: я никогда не знаю, что со мной будет завтра.

Думаю, все началось с того, что меня начали беспокоить деньги. Сначала Фредерик всюду меня приглашал, платил в ресторанах, кафе и такси. Но однажды он задал мне один вопрос, и я почувствовала себя неловко. Он спросил:

— Битна, а как у тебя дела с учебой?

Я ответила:

— Мне очень нравится французский.

Он улыбнулся:

— Нет, я имею в виду в смысле денег?

— Нормально, особых денежных проблем не испытываю.

И соврала:

— У меня не очень богатые родные, но они мне помогают. А остальное я зарабатываю сама.

Мне не хотелось, чтобы он знал, что я питаюсь одним кимчхи, а главное, в каком квартале живу. Я продолжала уклончиво:

— У меня маленькая комнатка в университетском городке в Ёнсе, жилье не шикарное, конечно, но мне удобно.

— Ты снимаешь ее пополам с кем-нибудь?

— Ну уж нет, я этого не люблю, студентки обычно такие грязнули, да еще и храпят во сне!

Тогда я и стала придумывать себе жизнь, чтобы рассказывать о ней господину Паку. У него-то в жизни все было так правильно, размеренно. Он жил вместе с родителями в красивом квартале, заканчивал юридический факультет и параллельно работал в книжном магазине в Чонногу. А еще он собирался вскоре купить машину: это будет подарок от родителей, когда он получит диплом.

Так что мне надо было соответствовать тому, как он меня себе представлял: девушка из буржуазной семьи, папа — чиновник, мама — преподаватель в частном колледже, никакого Чолладо, никаких рыбаков. Хотя я все же рассказала ему о бабушке с Севера, которая потеряла на войне

мужа и была вынуждена бежать в Пусан[28].

Все это не было ложью. Для меня это стало продолжением историй, которые я рассказывала Саломее, чтобы увидеть, как тяжелеют ото сна ее веки или чтобы ее сердце билось сильнее.

Между нами установились странные отношения: о своей настоящей жизни мы никогда друг другу не рассказывали. В сущности, я ничего о нем не знала. Когда мы расставались, он брал такси, высаживал меня около университета, где я якобы жила, а сам ехал дальше. Адреса при мне он никогда не называл. Чтобы чуточку поддразнить его и просто из любопытства — девушки любят совать нос куда не надо, — я однажды сказала:

— Поехали к тебе, мне хочется увидеть квартал, где ты живешь.

Он явно смутился.

— Это не самая удачная мысль, я живу далеко, и потом, нас могут увидеть вместе.

От этого ответа у меня больно кольнуло сердце. Должно быть, он понял это, потому что сразу постарался объясниться.

---

**[28] Сноски: 28**

Пусан — город в Республике Корея, в провинции Чолладо. Крупнейший порт страны, известный как «Морская столица Республики Корея».

— У родителей куча знакомых в округе, ты же знаешь: сразу начнут молоть языками.

Это объяснение мне не слишком понравилось. Я бы предпочла, чтобы он предложил мне познакомиться со своими драгоценными родителями: я ведь все равно не пошла бы к ним. Но я остановила его:

— Ладно, ладно, не надо ничего объяснять, я все понимаю.

Зато я ему о своих семейных делах вообще ничего не рассказывала. Только раз упомянула про Чолладо, а про тетушку и ее дочку Пак Хва — ни слова. Сама мысль, что он когда-нибудь может с ними увидеться, казалась мне абсурдной. Квартира, где я жила вместе с ними, была для меня как паучье гнездо.

Мы по-прежнему встречались, господин Пак и я, подолгу гуляя по городу. Он любил памятники старины, и мы побывали с ним в древних храмах на холмах, в музеях. И хотя архитектура не слишком меня интересовала, я терпеливо выслушивала его пояснения о консолях и старинных способах укладки черепицы на крышах. Наши прогулки заканчивались в кафе где-ни-

будь в Хондэ[29] или Синчхоне[30], обязательно с террасой, потому что Фредерик хотел выкурить сигарету. С ним я снова стала покуривать. Мы покупали ментоловые сигареты, из тех, что надо крепко зажимать между указательным и большим пальцами, чтобы высвободить содержавшуюся в табаке мятную эссенцию.

Мы пили очень крепкий кофе. Кофе и сигареты стали для меня символом этого парня, и не только из-за цвета его глаз и кожи, а еще и потому, что было в нем самом что-то завораживающе-темное, горькое. Мы сидели на террасе кафе, не обращая внимания на обычную для студенческих кварталов суету, курили и потягивали кофе, почти не разговаривая. Мне хотелось бы, чтобы между нами было больше теплоты, но он не шел на это. Боялся, наверно, что его увидят. Точно так же, хотя наши отношения стали уже гораздо ближе (мы даже начали серьезно флиртовать в парках или сидя на скамейке у воды), Фредерик упорно не хотел, чтобы мы ходили, держась за руки. Никогда не выставлять напоказ

---

**[29] Сноски: 29**

Хондэ — квартал в Сеуле, расположенный вокруг университета Хоник.

**[30] Сноски: 30**

Синчхон — университетский городок Сеула.

своих чувств — так он представлял себе жизнь вдвоем. «Совсем не нужно, чтобы об этом знали другие», — говорил он.

Таким же образом он устанавливал календарь наших встреч.

— Завтра и послезавтра не получится, я буду занят, — говорил он.

— А если я в другие дни не смогу?

Он смотрел на меня без эмоций.

— Тогда конец.

Идти на уступки и менять свои планы приходилось мне. Из-за этого я пропустила несколько семинаров и могла вот-вот лишиться жалованья за их организацию.

Причин своих отказов он никогда не объяснял. Он работал. Конечно, моя работа была совсем не то, что у него: никаких обязательств перед коллективом, не надо вести бухгалтерию, участвовать в инвентаризациях. Однажды он пояснил:

— Эта работа для меня как эксперимент. Моя цель — финансы, я хочу поступить в какую-нибудь крупную компанию, типа «Самсунг», «ЭлДжи» или «Хёндаи». Я не собираюсь всю жизнь торчать среди книг.

Мне это казалось немного обидным, потому что

для меня не было ничего лучше, чем всю жизнь провести среди книг.

Вот уже несколько долгих недель, как я совершенно забросила Саломею. Она присылала мне на телефон сообщения, сначала легкомысленные, вроде: «Я соскучилась по господину Чо Хан Су и его голубям!», или «Быстро новую историю! Все равно какую!», потом все более безнадежные: «Не забывайте вашу Ким Сери, а то она умрет!» и «Расскажите мне сказку на ночь — чтобы я умерла навек!»

Прогулки с Фредериком стоили дорого, мне нужны были деньги, да и квартирная хозяйка требовала заплатить за комнату, я и так задолжала ей за три месяца. Отбросив свои высокие принципы, я все же растратила на рестораны и прогулки деньги из конвертов — прекрасные купюры с печальной дамой. Меня раздирало теперь какое-то нетерпение, мне было ничуть не жаль этой пятидесятитысячной дамы, да и никого другого. Жизнь в этом огромном городе казалась мне похожей на тот большой сиротский приют, где я побывала как-то с одной студенткой с английского отделения и где десятки младенцев дожидались, как на рынке, когда их купит какая-нибудь богатая бездетная пара, которая

приложит все усилия, чтобы приглянувшийся им малыш не оказался дауном или ребенком наркоманов.

Я ответила на зов Саломеи, выбрала день, когда Фредерик Пак был занят, и поехала на юг города.

# Третья история, рассказанная Саломее

**Июль 2016 года**

В большой палате родильного дома вдоль стен стоят ряды кроваток, в каждой — младенец. Сейчас они еще спят, никто не шелохнется. За стеклянной дверью, запотевшей от дыхания множества людей, задремала на стуле медсестра Хана. На улице еще темно, это видно по синеве, окрасившей зарешеченные окна. Но в палате светло, дюжина неоновых ламп, из которых несколько беспрестанно мигают, заливают помещение холодным белым светом.

Наоми попала сюда июльским утром 2008 года. Ее нашла Хана, когда входила в здание «Приюта Доброго Пастыря» (так по-английски называется это благотворительное заведение). Хана заступала на дежурство в шесть часов утра, она доехала на метро до станции «Хондэ», по переулкам поднялась на вершину холма. В шесть часов на улицах еще пустынно, повсюду валяются картонные коробки, пустые бутылки, оставленные

гуляками, которые всю ночь шатались по городу. Хана привыкла ко всему этому, она больше не ворчит, как раньше: проклятые студенты, живут, как собаки, никакой закон им не писан! Когда она подошла к дверям «Доброго Пастыря», первым, что бросилось ей в глаза, была валявшаяся на земле куча тряпок. Она уже собралась было отпихнуть ее ногой ближе к водостоку, но тут тряпки зашевелились, и из них донесся тоненький плач, похожий на писк новорожденных котят. Она осторожно склонилась над комком, кончиками пальцев (на случай, если оттуда выскочит какой-то зверь и вцепится ей в руку), раздвинула тряпки и увидела крошечного младенца, розового, с закрытыми глазками и пучком черных как смоль волос на голове. Это была Наоми.

Конечно же, ее еще так не звали — Наоми. Это Хана придумала ей такое имя, потому что никогда не была замужем, никогда не могла родить ребенка и всегда думала, что, появись у нее ребенок, это была бы девочка и она назвала бы ее Наоми.

С появления Наоми прошел уже месяц. Сейчас она открыла глазки и живет в своей кроватке в палате для грудных детей вместе с еще двадца-

тью шестью такими же малышами. Все нянечки в приюте говорят, что она самая красивая, и Хана с ними совершенно согласна. Другие младенцы все разновозрастные, некоторые здесь уже по полгода, другие поступили после Наоми. Среди них есть и мальчики, и девочки. У некоторых имеются пороки развития, это заметно уже сейчас. Все они были брошены по разным причинам, в большинстве случаев потому, что эти мамы были слишком юными, почти девочками, и не могли сами растить ребенка, а главное, не могли вынести этот стыд — родить ребенка, не будучи в браке. Каждый день в приют приходят люди, желающие усыновить какого-нибудь малыша. Они не имеют права выбирать, даже близко к детям подойти не могут. Все, что им остается, это стоять за большой стеклянной дверью палаты для грудничков, смотреть на кроватки и слушать, как плачут младенцы. Возможно, глядя на колыбельки и слушая детский плач, они надеются услышать какой-то зов, угадать, каким он будет, их ребенок. Хана поместила Наоми в самом центре палаты, как можно дальше от стеклянной двери, в надежде, что приемные родители не разглядят ее, не расслышат ее голосок, не соблазнятся ее розовыми щечками и красивыми

черными волосиками.

А что же видит Наоми? Она еще не вертит головкой, та слишком тяжела и лежит, как приклеенная, на прохладной простыне постельки. Но ее широко раскрытые глазки смотрят на проплывающие над ней облака света, то такие белые, что их завихрения скрывают все вокруг, а то едва различимые, как тюль, как невесомый покров, растекающийся по комнате и сверкающий миллионами взвешенных в воздухе капелек. Никто, кроме Наоми, не видит этого. А еще она чувствует присутствие других детей. Их много, но дело не в цифрах. Все эти крики, плач, дыхание, запах пота или мочи, чуть терпкий запах сосунков, запах, расчерчивающий клетками потолок, стены, даже невидимый пол, и еще что-то, похожее на волну, на крик, на цвет, но на самом деле совсем другое, все это мельтешит вокруг, вторгается в пространство Наоми, скользит по ее тельцу, по замкнутому личику, по животику, проникает в ручки и ножки. Может, это какая-то волна? Наоми чувствует присутствие всех этих тел вокруг себя, даже когда они перестают кричать и плакать, даже когда они устают и снова погружаются в сон, даже когда они ничем не напоминают о себе, Наоми знает, что они тут, рядом. Какие-то

вибрации внутри нее говорят, что она девочка, дочь женщины, выпущенная сегодня в этот мир, и что отныне, на протяжении всей оставшейся жизни, она ни на секунду не покинет его, что ей предстоит прожить много-много лет, да, до самого конца, до последнего мгновения.

«Наоми, крошка Наоми, послушай меня, улыбнись, я здесь ради тебя, дорогая моя».

Это склонилась над кроваткой Хана, заглядывает в огромные черные глаза, белок которых еще отсвечивает синевой дородовой тьмы.

Откуда ты, крошка Наоми? Ты помнишь? Может, однажды ты расскажешь об этом? Кто забросил тебя в этот мир, а потом оставил на пороге «Доброго Пастыря» в куче старых тряпок, хотя это и не были обрывки чьей-то одежды или простыней. Кто положил тебя там холодным весенним утром, когда на губы тебе падала пыльца с цветущих вишен, а из парка доносился острый запах пробивающейся травы? Ты видела в белом небе журавлей, летящих из Сибири далеко, за Японское море? Они летят медленно, в строгом порядке, как военная эскадрилья, во главе — самый старый журавль, и их гулкие крики разносятся далеко над городом, достигая самых глухих переулков Синчхона и Хонгика

и даже твоего укромного уголка у подножия высокого серого дома. Ты помнишь, как слушала их, крошка Наоми? Это же самое начало твоей жизни, ты не можешь не помнить. Ты родилась не в больнице, как другие младенцы, ты родилась где-то в городе, может, в саду, а может, на плоской крыше какого-то дома среди картонных коробок и сохнущего на веревках белья. Ты закричала в один голос с матерью, которая произвела тебя на свет, а потом оказалась здесь, на пороге детского приюта, чтобы я нашла тебя и чтобы ты стала моей.

Но Наоми не слушает. Она еще пребывает в ином мире, том, что был ее пристанищем до рождения, мире, который люди берут с собой: они связаны с ним пуповиной, руками, ногами, полом, мир столь обширный и неизведанный, что его не постичь разумом, ибо что такое разум? Это всего лишь комочек плоти, который несколько мгновений, несколько дней, несколько недель еще сохраняет связь с тем пространством и временем, словно крохотное отверстие, сквозь которое можно увидеть начало бесконечности.

Слушай мой голос, первый голос, который ты услышала, потому что те, кто принес тебя и положил на пороге приюта, делали это молча, они так

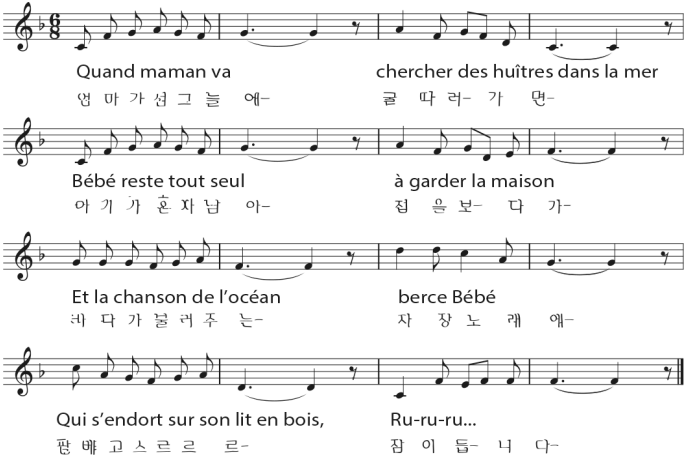
боялись, как бы в один прекрасный день ты не вспомнила, не узнала их голоса и не крикнула: «Несчастные, что вы наделали? За что вы бросили меня?» Мой голос, когда я нашла тебя и сразу взяла на руки, я, Хана, уже старая, я, которой уже никогда не родить ребенка, ибо мое лоно высохло и стало бесплодным, а пустые груди похожи на старые морщинистые мехи для вина. Мой голос, которым, подняв тебя и баюкая у себя на руках, я пела песню без слов, ту самую, что пела мне мать, когда я родилась, помню, песню, которую просила ее петь, когда мы переехали с Юга в этот огромный город, где я так боялась потеряться.

[31]

---

**[31] Сноски: 31**

*Когда мама уходит собирать устриц на море,*
*Малыш остается один в доме,*
*И песнь океана баюкает малыша,*
*Когда тот засыпает в своей деревянной колыбельке.*
*Ру-Ру-Ру…*




Дальше она пела без слов, вот так: «Лю-лю-лю, лю-лю, лю-лю-лю, лю-лю, лю...» Тихонько, вытягивая трубочкой губы, чтобы слова походили на воркование голубей на крыше, вот так, моя голубка, чтобы ты запомнила, чтобы ты знала, что кто-то был уже там, в то утро, на холодной улице, под весенним ветром, среди травяных ароматов, в белых облаках цветущих вишен, в шелесте

дождевых капель…

После этого большая палата приюта и приняла в себя крошку Наоми.

Новая кроватка заняла свое место на плиточном полу — четыре полотняные стенки, жесткий матрас и натянутая на него, словно на барабан, простыня. Наоми положили в кроватку, она заплакала, вместе с ней заплакали все остальные младенцы; она испугалась, услышав вдруг столько человеческих голосов сразу, но в то же время это было началом какого-то приключения, все эти дети, брошенные юными отчаявшимися матерями, сбежавшими или слишком робкими отцами, семьями, ослепшими от эгоизма и низости, обманутыми социальными институтами, законами, привычными правилами. Дети, похожие на прожорливых, хищных зверьков, всеми своими ручками и ножками, всеми нервами цепляющиеся за жизнь.

Саломее эта история не понравилась. Она ждала продолжения, какой-то интриги, чего-то, что могло удовлетворить ее аппетит. А может, это напомнило ей собственную историю, ведь и ее бросили родители: завещали огромное состояние, а потом приняли яд и отправились к праотцам.

— Почему об этих детях ничего не известно?

Ведь у них у всех были мамы? Почему они их бросили? И что с ними будет потом?

— Вам правда хотелось бы это знать?

Я вдруг поняла, что имею над ней власть, сродни той, что имеет надо мной Фредерик. Чувство это было приятным, но от него оставался какой-то ядовитый привкус, создавалось впечатление, что ты уступаешь искушению, поддаешься пороку. Чтобы убедиться в этом, я добавила:

— Если вам не нравятся мои истории, мы можем тут же все прекратить.

Саломея опустила голову. Я была для нее единственной связью с внешним миром, бесплатной, нематериальной, не имеющей ничего общего с привычной возней сиделок и медсестер, которые меняли ей подгузники, мыли ее, кормили и укладывали спать. Она прошептала:

— Нет, пожалуйста, останьтесь, рассказывайте что хотите.

И тогда я продолжила историю про Наоми.

Большую часть времени она лежала молча в своей холодной кроватке. Когда дети начинали плакать — сначала один, затем другой, потом третий, десятый, и наконец уже все в палате, сморщив, как стиснутые кулачки, личики, широко раскрыв ротики, побагровев от натуги,

заходились в пронзительном крике, на шум слетались нянечки, бегали по рядам, не зная, что делать, бросаясь от одного к другому, щупая пеленки, проверяя матрасы — вдруг там затерялась какая-то булавка? — и затыкая уши, чтобы не сойти с ума.

Они не знали, что сигнал к началу этого ора подавала она. Когда в палате было тихо, но не темно, потому что в приюте темно не бывает, там оставляют приглушенный свет идущих вдоль плинтуса ламп, она чувствовала, как внутри у нее растет тревога. Это была тревога маленьких детей, которых бросают родители — бросают, как топят котят. Тогда она издавала крик — один-единственный, пронзительный, злой, призыв о помощи, и от этого бешеного вопля просыпался весь приют, заходясь в плаче, пока на усмирение бунта не прибегали нянечки, медсестры и даже акушерки.

Старая Хана знала это. Она быстро поняла, в чем дело, почувствовала инстинктивно, а может, все оттого, что она первой услышала плач Наоми, когда подобрала ее тогда, ранним утром, на пороге приюта. Но она не выдала ее. Она понимала Наоми, это был ее ребенок и ничей другой, она не могла допустить мысли, что явятся какие-то

люди с улицы и, как ни в чем не бывало, увезут ее девочку в какой-нибудь красивый дом в Гангнаме или в шикарные апартаменты на берегу Хангана. Это она придумала распустить слух, что Наоми — ненормальная, что она глухая, или у нее синдром Дауна, или что она страдает нервными припадками. Когда кандидаты на усыновление приходили к стеклянной двери палаты, они сразу замечали кроватку Наоми, потому что даже издали было видно, какие у девочки густые волосики и розовая кожа, но тут появлялась Хана: «Вы ведь знаете, что этот ребенок не такой, как все? Вас предупредили в агентстве по усыновлению?» Если люди настаивали: «Но мы будем любить ее, она нуждается в любви больше, чем остальные», Хана отвечала: «Эта девочка никогда не заговорит, никогда вам не улыбнется, мы ведь даже не уверены, видит ли она, похоже, у нее и по этой части проблемы». Так Хана отклоняла все кандидатуры, до тех пор пока в один прекрасный день администрация не решила, что Наоми больше нельзя держать в приюте, что от нее слишком много беспорядка, к тому же из-за нее много других детей оставалось неусыновленными. Что же с ней делать? Встал вопрос о переведении ее в государственное учреждение для детей-инвалидов.

Но Хана разработала свой план. Она объявила, что уходит с работы, потому что возвращается на Юг, чтобы ухаживать за своей матерью. За несколько дней до увольнения ей удалось взять ночное дежурство — с часу ночи до шести утра, и она заранее приготовила все, что понадобится в последующие дни. В ту ночь Наоми решила показать все, на что способна. В течение долгих часов она вела себя тихо, и дежурные медсестры спокойно заснули на стульях перед телевизором. Но потом, ровно в пять утра, Наоми пронзительно заорала, такого страшного крика она еще никогда не издавала. Началась суматоха, все бегали туда-сюда с опухшими спросонья глазами, пытаясь унять кричавших что есть мочи младенцев. Воспользовавшись беспорядком, Хана завернула Наоми в одеяльце, потихоньку выскользнула из палаты, толкнула большую дверь и с великой радостью увидела снаружи черное такси, ожидавшее ее с зажженными фарами. Она открыла дверцу машины и, сжимая в руках малышку Наоми, уселась на заднее сиденье. «Куда поедем?» — спросил шофер. «Прямо!» — только и сказала Хана. Машина тронулась, а Хана, устроившись поудобнее на сиденье, осторожно отвернула край одеяльца. В свете нарождавшей-

ся зари трудно было что-то рассмотреть, но ей показалось, что Наоми улыбалась.

# Продолжение истории про господина Чо и его голубей

**Август 2016 года**

Тренировки проходили почти по-военному. Каждое утро на рассвете господин Чо брал свой трехколесный мотороллер и грузил на него две-три клетки, в каждой из которых находилась пара голубей. Место он выбирал тщательно. Прежде всего, у реки, чтобы голуби научились одним махом перелетать на другой берег, не останавливаясь на островках или под мостами. Утром, на рассвете, большая река походила на змея, сделанного из облаков: туман, приходивший с моря, поднимался вверх по устью. Неподалеку от Инчхона голуби учились летать над поросшими красной травой полями, которые море медленно поглощало во время прилива.

К лапке Черного Дракона господин Чо привязал свернутую в трубочку записку с несколькими отдельными словами, значение которых было известно ему одному:

*море*

*остров*
*ветер*
*крыло*
*возвращение.*

А к правой лапке Бриллиантика он прикреплял нежные, полные любви послания:

*бесконечность*
*давно*
*нежность.*

А еще имя его жены: Сён Хе Хан.

Господин Чо часто думает о ней, она умерла там, на острове, когда он еще служил в полиции. Зарабатывал он немного, а потому она работала банщицей в общественной бане, делала массаж деревенским женщинам и ухаживала за их кожей.

Ради нее-то господин Чо и затеял всю эту историю с голубями. Он помнит, как она сказала в тот день, когда он расспрашивал ее про бабушку: «Вот бы стать птицей и полететь туда». Это верно: сторожевые вышки и колючая проволока могут удержать только людей и животных, которые ходят по земле. Птиц и насекомых, а может, и змей с лягушками границы не остановят. На деньги

Сён Хе Хан они и вырастили всех этих голубей. Господину Чо хотелось, чтобы ее мечта сбылась, хотелось показать ей, что когда-нибудь они отправят весточку ее родным, оставшимся на той стороне, что это возможно. Но она умерла до того, как это свершилось.

После пробных полетов над большой рекой господин Чо подумал, что неплохо было бы проделать то же самое в горах. Там, по ту сторону границы, высились огромные горы с заснеженными вершинами, острыми скалами и глубокими ущельями — непреодолимая преграда для тех, кто не умеет летать как следует. Для первых тренировок господин Чо отвез своих голубей на вершину горы Пукхансан[32]. Мотороллер уже немного выдохся: он был куплен еще в те времена, когда господин Чо занялся доставкой овощей и фруктов с базара в центральные районы города. Господин Чо решил, что будет осмотрительнее нанять такси. Он обсудил цену поездки: рано утром туда, а обратно ближе к вечеру. Таксист, которого звали господин Ли, как и господин Чо, в прошлом служил полицейским, а потому согласился ему помочь, не торгуясь, по очень разумной цене.

**[32] Сноски: 32**

Пукхансан — горный хребет, расположенный к северу от Сеула. Вершины хребта венчают гладкие скалы.

Единственным требованием господина Ли было, чтобы птицы путешествовали в багажнике, пусть даже не полностью закрытом, чтобы в салоне после них не осталось запаха и перьев. Господин Чо согласился не раздумывая: «Голуби не боятся холода, — сказал он, — и немного свежего воздуха пойдет им на пользу». На этот раз он заготовил более понятные записки, на случай если один из голубей заблудится в горах и его подберет кто-то из местных жителей. Послание выглядело примерно так:

*«Здравствуйте! Меня зовут Черный Дракон, записку, которую я несу, просьба передать только моему хозяину, господину Чо».*

Далее следовал адрес. Он бы добавил и номер телефона своей дочери, да боялся, той не понравится, что ее личный номер может попасть в руки чужим людям, к тому же она могла посмеяться над его чудачеством.

Итак, ранним апрельским утром такси господина Ли привезло господина Чо на вершину горы. Дул холодный ветер, но небо над туманной дымкой сияло чистейшей синевой.

«Идите сюда, мои милые, — говорил господин Чо, обращаясь к парочке голубей. — Сейчас вы узнаете, каково это — летать в воздухе, чище

которого нет во всей стране, вдали от смрадных городов». Он приоткрыл клетку, чтобы голуби немного попривыкли. Все это время, желая приободрить птиц, господин Чо ворковал: «Ррру-ррру-ррру…» Затем он достал из клетки Бриллиантик, подержал ее в руках, нежно подул несколько раз ей на клюв. Почуяв восхитительный воздух, аромат разогретых солнцем сосен, запах стелющихся между камней растений, а возможно, и запах снега — мирный запах, ощущать который могут одни лишь птицы, та стала легонько вырываться. Мгновение спустя господин Чо подошел к отвесной стене, возвышавшейся над местностью, подбросил Бриллиантик высоко в небо и стал следить, как она взмыла ввысь, пролетела мимо восходящего солнца и стала кружить над деревьями. Неподвижный воздух наполнился шумом ее крыльев. Вслед за этим господин Чо выпустил на волю Черного Дракона, и тот, шурша перьями, поднялся вертикально вверх и догнал свою подружку.

Голуби встретились в небе и принялись виться один вокруг другого, так быстро и так близко, что господин Чо на какой-то миг испугался, как бы они не разбились о скалы. Затем он закрыл глаза, чтобы лучше прочувствовать то, что чувствовали

они, — этот вихрь из света и ветра, в котором под ними кружились горы и сплетались в нити белые и серые облака.

Саломея тоже закрывает глаза. Она протягивает руку, и я сжимаю ее в своих ладонях, как будто через кожу могу передать ей вкус горного воздуха, шум ветра в верхушках сосен, шорох голубиных крыльев. Она вздрагивает: болезнь сделала ее нервные окончания в десять раз чувствительнее, и малейшее дуновение заставляет все клетки ее тела вибрировать. Об этой болезни — синдроме Зудека[33] — мне впервые рассказала Юри, моя приятельница с медицинского факультета: «На определенном этапе болезни малейшее ощущение становится непереносимой болью, и больным приходится прибегать к обезболивающим средствам». Она сказала это по-медицински холодно, но здесь, в комнате с задернутыми от света шторами, где становится душно от тиши-

**[33] Сноски: 33**

Синдром Зудека (атрофия Зудека) — болевой синдром, возникающий после травмы конечностей, сопровождающийся длительными вазомоторными, трофическими нарушениями и остеопорозом. Назван по имени немецкого хирурга П. Зудека, впервые представившего в 1900 году описание характерных рентгенологических признаков (прозрачность костного рисунка) при некоторых воспалительных заболеваниях костей и суставов с быстро наступающей костной атрофией и назвавшего это явление острой трофоневротической костной атрофией.

ны, мне кажется, что я сама ощущаю то, что чувствует Саломея, — эту электрическую волну, захлестывающую кожу, все ее тело до корней волос. «Прости, Саломея, — шепчу я, — я не хотела сделать тебе больно, если хочешь, я могу уйти». Она не отвечает, но рука ее сжимается, пальцы с крючковатыми ногтями цепляются за меня, впиваясь в плоть, узкие губы синеют.

Электрическая волна не стихает довольно долго. Но постепенно она ослабевает, прячется где-то в глубине ее тела, и я чувствую внутри себя онемение, которое обычно приходит на смену боли.

* * *

Ну вот настал момент и для моей истории, я не придумывала ее, это действительно случилось со мной.

Я решила рассказать ее Саломее, потому что в некоторой степени устала от всего, что слишком красиво. Конечно, Саломея тяжело больна, она не встает с кресла, носит подгузники, а кожа у нее — шершавая, будто бумажная, и вся в красных пятнах и синяках. И потом, этот ее запах, я его с трудом переношу. До нее я и не знала, что у больных есть свой особый запах. Чуть кисловатый, как у стариков. Как пахнут

старики, я хорошо знаю, потому что в детстве часто делала массаж бабушке. Но у стариков запах нежнее, он немного похож на запах увядших цветов. Саломея же пахнет сильно, крепко, как-то по-звериному, и к этому запаху примешивается еще и запах пота. Медсестра напрасно льет ей на шею литры одеколона, запах все равно остается, проступает на поверхность. Иногда мне так и хочется сказать: «Саломея, ты плохо пахнешь». Но я не говорю этого — не из вежливости и не потому, что она мне платит (в конце концов, я ей не служанка, я просто рассказываю ей разные истории). Нет, это скорее из гордости: я считаю, что не имею права жаловаться, и все равно мне ничего не изменить. Либо я прихожу к ней, либо ухожу и больше не возвращаюсь. Что тут еще говорить?

Но этот запах пропитал меня насквозь. Когда я возвращаюсь домой, в свою полуподвальную квартирку, я сразу открываю окошко на уровне тротуара, даже если там стоят мешки с мусором, к которым сбегаются крысы и тараканы. Я ложусь на матрас, прямо на полу, и тут запах снова настигает меня, он заполняет комнату, забивается мне в ноздри. А может, источник этого запаха я сама? Я накрываюсь с головой простыней и за-

сыпаю, сжав кулаки.

Так в моей жизни появился *воннаби*-убийца.

# История про убийцу-недоучку

## Конец августа 2016 года

В то время я жила еще в квартале над университетом Ихва[34] с его карабкающимися по склонам холма улочками, застроенными трехэтажными домами довольно мерзкого вида. Я так и стала называть этот квартал — «Эль Сордидо», что в переводе с испанского означает «мерзкий, гнусный». Когда однокурсницы спрашивали меня, где я живу, я отвечала: «Квартал называется Эль Сордидо». Так вполне мог бы называться и мой дом, хотя у него не было на самом деле никакого названия, только номер, 203 Дон 1002 Хо, из кирпича и бетонных блоков, с металлическими окнами и такими же дверями и почти вертикальной темной лестницей. На первом этаже размещался ресторан, где подавали соллонтхан[35], на последнем — салон массажа. Мне же полагался

**[34] Сноски: 34**

Женский университет Ихва — негосударственный женский университет в центре Сеула.

**[35] Сноски: 35**

Соллонтхан — корейский суп из воловьей ноги, который варят на протяжении десяти часов, пока он не приобретет молочно-белый цвет.

только полуподвал с одним окном — крохотной форточкой на уровне тротуара, — которое часто оказывалось заваленным мешками с мусором. Первое время я вела отчаянную борьбу (в отчаяние приходила я) с огромной крысой, которой приглянулось мое жилище. Она приходила по вентиляционным трубам, взломав решетку. Я вставила вместо решетки деревянную дощечку, но она каждую ночь ее грызла. Я заменила дерево на гипс, но и тот не устоял перед ее зубами. Тогда я прибегла к последнему решению: купила у старьевщика кусок цинковой барной стойки и забила им отверстие в стене. Последующие ночи были настоящим адом. Крысища (я назвала ее Фэт-Бой, хотя она вполне могла быть и Фэт-Гёрл) пыталась прогрызть себе проход и так громко скребла зубами по металлу, что я не могла уснуть до утра. Меня пожалел тот же старьевщик.

«Против крыс есть только одно средство», — сказал он.

Я подумала, что он говорит о яде.

«Нет, яд ваша крыса хорошо знает, она к нему не притронется, и потом, это опасно для детей».

Он дал мне осколки бутылок из-под соджу, завернутые в обрывок газеты.

«Это надо мелко истолочь и смешать с рисовы-

ми шариками. Она съест их и сдохнет».

Средство, конечно, жестокое, но я понимала, что вопрос стоит так: либо крыса, либо я. Прошло несколько ночей, крыса не давала о себе знать, и я решила, что она ушла умирать куда-то в другое место.

Но крыса — это было только начало. Потому что через какое-то время я стала жертвой еще более страшного нападения. Я спала на своем матрасе, как вдруг проснулась от странного ощущения, будто поблизости кто-то есть. Сначала я решила, это просто страшный сон, но, когда повернула голову к окошку, у меня от страха чуть не остановилось сердце. За стеклом стоял на корточках какой-то человек и смотрел на меня. В свое время я вообразила, что, учитывая расположение моего окна — на уровне земли, с улицы меня никому не будет видно, и поэтому не стала вешать занавески. Лето было в разгаре, стояла удушающая жара, и я оставила на ночь окно приоткрытым. Я отчетливо слышала дыхание этого человека и даже видела на стекле пятна пара от его ноздрей.

Не знаю, сколько прошло времени, я будто парализованная смотрела на фигуру за окном, это было как в страшном сне, когда боишься даже вздохнуть, но потом у меня вырвался крик, я за-

орала во всю глотку, так громко, что чуть сама не оглохла в своей маленькой комнатке, а тот человек убежал. Что я могла сделать? Пожаловаться в полицию? Но ведь ничего не произошло, мне и заявлять-то было нечего. Какая-то фигура за окном, шумное дыхание, ощущение его взгляда. Я не могла говорить об этом даже со старьевщиком: может, у него и против этого сталкера есть средство? В последующие ночи я залепила окно газетами, приклеив их скотчем к стеклу, и даже подперла дверную ручку единственным креслом, но заснуть так и не могла. Время от времени, когда я начинала дремать, мне отчетливо слышался стук в окно, быстрые, нетерпеливые удары, и я поглубже залезала под простыню, чтобы ничего не слышать.

Потом все это происходило не только ночью. Теперь, каждый раз, когда я выбиралась из своего подвала, чтобы идти на лекции в университет или в библиотеку, меня не оставляло чувство, что за мной следят. Квартал Эль Сордидо прекрасно подходил для этого: узкие улочки, сбегавшие вниз к станции метро, темные закоулки, гаражи, дворики — все казалось мне сомнительным, повсюду виделись подозрительные фигуры. Я бежала без оглядки, поворачивала налево, направо, потом

останавливалась, чтобы посмотреть в витрину аптеки, что делается позади меня. Там, прямо за мной, стояла черная фигура — высокий, крепкий мужчина с покатыми плечами в мятых брюках и серой футболке, в нахлобученной на голову вязаной шерстяной шапке, несмотря на жару. Теперь я знала его во всех подробностях, хотя ни разу не взглянула ему прямо в лицо. Когда прошел первый приступ паники, я решила перейти в наступление и запомнить как можно больше примет для составления словесного портрета. Чтобы определить его рост, я заметила, на какой высоте наклеена на фонарном столбе рекламная листовка, и, по-прежнему глядя на отражение в витрине, отметила, что он выше этой отметки сантиметров на десять, то есть что его рост примерно метр восемьдесят. Что касается веса, тут было сложнее. Я решила проскользнуть между сваленными на тротуаре картонными коробками и увидела, что ему за мной не пролезть и он вынужден сойти на проезжую часть. С возрастом тоже оказалось непонятно, но сталкер мог бегать, быстро ходить, и я решила, что он человек в расцвете лет, то есть очень опасен.

Почему именно я? Наверняка он давно уже меня заприметил, задолго до того, как я поняла это,

когда еще только поселилась в этом проклятом районе, в этом полуподвале, сбежав из тетушкиной квартиры. Но почему он так упорно следил за мной? Чтобы сбить его со следа, я поменяла свои привычки. До сих пор я ложилась спать поздно, подолгу читала или занималась у себя в комнате с зажженным светом, просыпалась около полудня, когда день был уже в разгаре. Теперь же я стала гасить свет очень рано, чтобы он подумал, будто я уже легла, и вставала очень рано, иногда уже в шесть утра выходила из дома, ничего не ела, даже зубы не чистила, надевала ту же одежду, что была на мне накануне, не меняла белье, даже не причесывалась, хотелось выглядеть жалко, чтобы ни у кого не возникало желания заговорить со мной. Сначала мне показалось, что он понял и прекратил свои преследования. Но потом, спускаясь как-то по лестнице в метро, я обернулась и увидела его: он стоял тут, в переулке, руки в карманы, все в той же шерстяной шапке, туго натянутой на круглую голову, видно было даже, что он улыбается. От этой улыбки у меня похолодела спина, как будто по коже провели ножом.

Саломея слушает мою историю не дыша. Думаю, ей тоже страшно, может быть, она до сих

пор и не задумывалась, что кто-то может преследовать на улице девушку, не пытаясь заговорить с ней, не подходя ближе, просто пугая ее ради собственного удовольствия. Я злюсь на себя за то, что рассказала ей все это, обманула ее ожидание. Зачем? Чтобы отомстить за уютный заповедный мирок, в котором она живет, несмотря на болезнь, в котором никогда нет недостатка в деньгах, где медсестры заступают на дежурство, сменяя друг друга строго по часам, мир, к которому принадлежу теперь и я, поскольку меня наняли, чтобы вести с ней беседы? А может, мне хочется наказать ее за то, что она вот такая — беззащитная и пахнет смертью?

— Простите, — говорю я ей, — мне не следовало рассказывать вам это. Я вижу, что моя история вам не нравится.

Ее щеки вдруг вспыхивают, глаза загораются.

— Нет, нет, Битна, — возражает она, — пожалуйста, продолжайте. — И добавляет: — Это ведь выдуманная история, правда? Такого на самом деле не бывает?

На секунду мне хочется сказать: «Вы что думаете, что я способна выдумать убийцу?» Но я беру себя в руки:

— Нет-нет, Саломея, конечно, это я все приду-

мала, как и про мадемуазель Китти — кошку, что разносила послания, и про господина Чо с его голубями.

Я ответила не сразу, и Саломея тут же заполнила пустоту между своим вопросом и моим ответом: возможно, в глубине души ей, как и мне, хотелось верить, что все это — неправда, но в то же время она надеялась узнать продолжение, потому что во лжи всегда скрывается доля истины.

* * *

Сезон дождей наступил внезапно, на город обрушились ливни, по улицам потекли дождевые реки; я видела такое впервые, потому что в Чолладо, когда идет дождь, земля тут же впитывает в себя ручьи и лужи, но здесь, в квартале Синчхон, это было похоже на конец света. По небу катились огромные тучи, скрывавшие верхние этажи зданий, перекрестки были затоплены, из канализационных люков били фонтаны воды. Каждый день я должна была ходить в университет или на занятия иностранными языками, и для меня это стало настоящим бедствием. Зонтика у меня не было. Я упаковывала рюкзак в несколько полиэтиленовых пакетов и укрывалась как могла, под морским непромокаемым

плащом, оставшимся у меня еще с юности, со времен рыбного базара. По улицам я шлепала босиком, сняв туфли и держа их в руках. Хорошо, что я выросла в деревне, — привыкла ходить босиком. А мои сокурсники то и дело спотыкались на облепленных грязью высоченных каблуках или поскальзывались в сандалиях на плоской подошве, размахивая рука-ми, словно чайки на прибрежном льду. Мне всегда нравилось ходить в дождь босой, чувствовать, как вода струится между пальцами ног, эти ощущения возвращали меня в детство. Наступивший сезон дождей дал мне передышку: сталкер исчез. Ему наверняка не нравилось мокнуть, а может, он был не так ловок, как я, и не поспевал за мной на улицах, превратившихся в стремительные потоки.

Я перестала встречаться с господином Паком, это произошло само собой, я и не думала ни о чем таком, он должен был мне позвонить и не позвонил, я обещала как-то вечером в субботу зайти к нему в книжный магазин, но вместо этого пошла одна в кино на какой-то триллер. Как будто исчезновение сталкера повлекло за собой и исчезновение моего возлюбленного. Или как будто оба они были лишь двумя ипостасями одной и той же личности: с одной стороны — властный,

самовлюбленный эгоист, с другой — опасный, алчный незнакомец.

* * *

К Саломее я уже давно не заходила и не звонила ей. Всё, конечно, из-за сезона дождей. А еще из-за подготовки к преподаванию начального курса французского языка в университете. Я согласилась на эту работу, хотя платили за нее гроши. Мне предложила ее «сучка» Юн Джа. Это не очень законно, потому что у меня нет соответствующих дипломов, но я наврала ей, что долгое время жила в Африке и говорю как носитель языка. Она поверила. И потом, ее это очень устраивает, потому что они с мужем решили завести ребенка и она уже прошла кучу обследований. Конечно, в сорок лет — это последний срок, но у меня к ней нет никакого сочувствия. Во-первых, потому что она — «сучка» и такой и останется, надменной, уверенной в себе и в родительских денежках (ее отец владеет фабрикой по производству хлебцев из воздушного риса, самой крупной в Сеуле, и начинает экспортировать их в страны Африки), а во-вторых, потому что она отдает мне только небольшую часть университетского жалованья за то, что я сохраню ее место. Я, конечно, могла бы

пригрозить выдать ее, но что мне это даст? Она останется на своем месте благодаря папиным денежкам, а меня все будут считать неблагодарной «сучкой», которая предательски кусает своих. Так что я все дни торчала в университете, готовясь к занятиям и квестам, скачивая иллюстрации и популярные французские песни: Далиду, Эрве Вилара и моего любимого Алена Сушона. Это должно немного разнообразить обычный репертуар Юн Джа, которая ограничивается одним Адамо с его «Падает снег».

Когда я позвонила Саломее, чтобы прекратить поток ее сообщений, приходивших на мой телефон, та ответила еле слышным голосом.

— Как поживаете, Саломея?

— Плохо, очень плохо.

— Да? Мне очень жаль.

Наступило тяжелое молчание. Я слышала ее дыхание, тихий шорох, наподобие шума ветра в сосновой хвое. Я представляла себе жару у нее в комнате, солнечный свет, пробивающийся сквозь задернутые шторы, запах пота, пропитавший одежду. От всего этого у меня защемило сердце, как от чего-то до боли знакомого, без чего нельзя обойтись.

— Я могу приехать прямо сейчас.

Я сказала это не подумав. И тут же почувствовала облегчение, которое принесли Саломее мои слова, она как будто глубоко вздохнула или ей стало легче дышать. В общем-то все просто. На каждое действие есть своя реакция. Я ведь могла и солгать — так, ради эксперимента. Жестоко, да, но за последнее время я научилась быть жестокой. Как господин Пак, который назначает свидание и не является на него или звонит, не оставляя сообщения. Звонит из автомата или с номера, на который не перезвонить, — из магазина, например. Тут звони не звони, ни к чему это не приведет. — Когда?

— Сейчас, если хотите.

— Тогда берите такси и сохраните чек — я возмещу вам стоимость.

— Но у меня нет денег на такси.

— Тогда я сама закажу его вам, где вы сейчас?

— В университете.

— Звоню в такси.

Минуту спустя:

— Такси будет через пятнадцать минут. У входа в университет.

— Отлично.

Перемены, произошедшие в теле Саломеи за несколько недель, поразили меня. Как будто

время, которое для всех шло в обычном темпе, час за часом, день за днем, ночь за ночью, для нее пустилось вскачь. Ее лицо было по-прежнему прекрасно (мне всегда казалось, что она похожа на рисунок Данте Габриэля Россетти[36]: довольно широкая переносица, изогнутые дугой брови, обрамляющие тень, в глубине которой горел ее взгляд, прямая, подстриженная ножницами челка черных волос), но выражение его было странным, как бы застывшим, словно что-то страшное подстерегало ее, и она не могла от этого избавиться. Она сидела скрючившись в своем кресле с ногами, укрытыми, несмотря на жару, пледом.

Меня она встретила принужденной улыбкой.

– *Long time no see*[37], — сказала она.

— Не так уж давно, — начала было я. Но она, не слушая, нетерпеливо махнула рукой.

— Не желаю слушать. Хочу, чтобы вы рассказали мне истории до конца.

Ее голос тоже изменился, словно на голосовые связки набросили вуаль. Она быстро дышала,

---

**[36] Сноски: 36**

Данте Габриель Россетти (1828–1882) — английский поэт, переводчик, иллюстратор и художник. Один из крупнейших прерафаэлитов.

**[37] Сноски: 37**

Давно не виделись (*англ.*).

приоткрыв рот, горячий воздух свистел между зубов, мне показалось, что я слышу пыхтенье паровой машины, но то работала кузница ее легких.

— Так что там с тем якобы убийцей?

— Он пропал… на время.

— Как это — пропал? Такие типы никогда не пропадают насовсем.

Она смотрела на меня с иронией. Я хотела было сказать какую-нибудь банальность про дождь, из-за которого может пропасть все что угодно, но мне помешал ее взгляд. Я подумала, что она знает или подозревает что-то, что мне непонятно.

— Но эта история мне не нужна, — сказала она.

Я начала обычный церемониал с того, что пошла к буфету за чашками, блюдцами, пакетиками с чаем и заварочным чайником, который привез ей из Англии отец. Я включила электрический чайник и стала ждать, стоя у окна. Сквозь тюлевую занавеску была видна пустая улица, блестящий от дождя асфальт проезжей части, зеленые насаждения. Этот прямоугольник в стене — вот и все, что Саломея могла видеть из окружающего мира. Даже небо, скрытое высокими домами, было ей недоступно.

— Быстрее!

Саломея впервые приказывала мне, однако ее голос противоречил сказанному: это был не приказ, а скорее жалоба, выдохнутая дрожащими тонкими губами.

Я уселась напротив нее, не в кресло, а на низкий стульчик, на каких обычно сидят портнихи: так я могла быть с ней лицом к лицу, сидя в то же время у ее ног. Думаю, это и есть поза сказочника, и мне очень нравилось так сидеть. Каждый раз вспоминалась старшая сестра моего отца (на самом деле она была его сводной сестрой), мы называли ее Гомо, думаю, это было настоящее имя. Когда она рассказывала свои истории, я усаживалась на пол у ее ног, а она ласково гладила меня по голове.

# Конец истории про господина Чо, рассказанной Саломее

### Конец августа 2016 года

Правда в том, сказала я (кажется, немного напыщенно), что всему приходит конец, даже самым невероятным историям. И это было известно даже господину Чо. Потому-то он и оттягивал так долго момент, чтобы отпустить наконец странников, своего любимца Черного Дракона и его супругу по имени Бриллиантик, на другой край земли.

Возможно, в глубине души он боялся этого последнего испытания. Он так давно ждал возвращения на родину. С тех самых пор, когда еще ребенком, на острове Канхвадо, слушал вечерами, как мать поет знаменитую народную песню «Ариран»[38], обратив взор к туманной полосе, скрывавшей другой берег великой реки Ханган. Он хорошо помнил это, вспоминал всю свою жизнь, каждый вечер, в час, когда дневной свет

---

**[38] Сноски: 38**

«Ариран» — одна из наиболее популярных и известных народных песен в Корее. Существует в нескольких вариантах.

идет на убыль, словно молитва.

«Настанет день, и мы переплывем через реку, перейдем горы и снова окажемся дома». Так пела мама, когда он был ребенком, пела и баюкала его, а он засыпал, и ему снилось, что он летит на ту сторону. Может, теперь он один и помнит это. Когда он пытался заговорить об этом с той, которая собиралась стать его женой, с Сён Хе Хан (правда, она всегда предпочитала, чтобы ее называли по-английски — Нэнси), та посмеивалась над ним. Сначала по-доброму: «Все маленькие мальчики видят во сне, как летают с мамой по небу!» Потом, с годами, ее подтрунивания становились все ворчливее и злее: «Ну, так и катись туда, на ту сторону, посмотри, так уж ли там хорошо. Говорят, там покойников стараются закапывать поскорее, чтобы их не сожрали, — так они все изголодались!» Он понял, что она не разделяет больше его мечты, и никогда с ней об этом не заговаривал.

Господин Чо почувствовал, что время пришло. С тех пор как умерла жена, он только и жил что подготовкой к возвращению на родину. Теперь некому больше было противиться его фантазиям, дочка выросла, вышла замуж за служащего миграционного бюро (мигранты прибывали глав-

ным образом из Китая), она не имела ни времени, ни желания критиковать отца. Он мог делать со своими голубями все, что ему захочется, ей не было до этого дела.

С другой стороны, господин Чо чувствовал, что пора на что-то решаться, пока совсем не поздно. Для человека пенсионного возраста он был еще очень крепок, да и работа консьержем в жилом комплексе «Good Luck!» оставляла ему немало свободного времени, но он понимал, что оставшиеся годы будут убывать все быстрее и быстрее. Настанет день, когда у него не останется больше сил на подобное путешествие.

К концу 60-х годов война уже давно закончилась, но постоянно ходили слухи о том, что на границе неспокойно. В демилитаризованной зоне в уезде Косон[39], в Ы Джи, произошел конфликт между солдатами Севера и Юга. Убитых и раненых не было, но стреляли настоящими пулями, дали даже несколько орудийных залпов. Все это могло повториться в любую минуту.

Господин Чо не мог полагаться на случай. И он решил учинить своим птицам особую трениров-

---

**[39] Сноски: 39**

Косон — уезд в провинции Канвондо, Южная Корея. После разделения Кореи уезд остался у КНДР, однако в результате Корейской войны в 1953 году перешел в состав Южной Кореи.

ку. Сначала он подумал использовать для этого петарды, из тех, что запускают на Новый год. Но пальба, которую производили эти фитюльки, показалась ему просто смехотворной. Он же не воробьев собирался пугать, его голубям предстоял самый трудный, самый опасный перелет, который они когда-либо проделывали.

Тогда-то он и решил отправиться на автобусе в южную часть города, в квартал, примыкающий к зоологическому саду, а оттуда по извилистой тропинке подняться в сосновый лес. Там, на поляне, находился учебный тир. Внимательно изучив эти места, господин Чо решил, что лучше всего будет расположиться чуть восточнее стенда для стрельбы, на небольшой возвышенности, — там его никто не увидит.

Было еще раннее утро, и тир только что открылся. К полудню господин Чо выпустил голубей: сначала Зяблика и его жену Лисичку, затем Президента и Путешественницу и наконец Муху и Стрекозу. Пистолетные и ружейные выстрелы грохотали в голубом небе, в воздухе стоял запах пороха. Когда стрельба усилилась, господин Чо осторожно вынул из клетки Черного Дракона и долго чесал ему грудку: этому герою предстояло выполнить опасную миссию. Затем он подбро-

сил его вверх, к небу, в сторону тира, и тут же, очертив над соснами огромную дугу, за ним устремилась Бриллиантик.

До вечера ждал господин Чо возвращения птиц. Ружейная пальба заглушила все остальные звуки в сосновом лесу, не слышно было ни шума автомобилей на ближайшем шоссе, ни пения цикад. Господин Чо думал о том, что слышала его мать, когда бежала по полям со своим сыночком, висевшим в большом платке у нее за спиной, а вокруг трещали автоматы, рвались снаряды, и она спотыкалась в воде на рисовых плантациях где-то около Пхохана[40] и Масана[41], и было это на исходе лета, давным-давно, в 1950 году, когда господин Чо был совсем маленьким, грудным младенцем, но до сих пор свист каждой пули, разрыв каждого снаряда кажется ему знакомым.

Когда настали сумерки и небо начало затягиваться дымкой, господин Чо увидел своих птиц. Обе пары кружили на расстоянии нескольких

---

**[40] Сноски: 40**

Пхоха́н — город в провинции Кёнсан-Пукто, Южная Корея. В начале Корейской войны, в период с 5 по 20 августа 1950 года, в окрестностях Пхохана произошло сражение между силами ООН и Северной Кореи.

**[41] Сноски: 41**

Маса́н — город и морской порт в Республике Корея, до 2010 года входил в состав провинции Кёнсан-Намдо, 1 июля 2010 года был присоединен к соседнему Чханвону, став одним из его районов.

взмахов крыльев одна от другой в поисках хозяина. Ружейные выстрелы стихли. Цикады снова завели свой концерт, беря то выше, то ниже, подстраиваясь под рев автомобилей на шоссе.

Господин Чо подал знак, похлопав в ладоши, птицы подлетели ближе, сначала самки, потом оба самца, и опустились на сухую землю среди сосен. Они пролетали весь день, но усталыми не выглядели. Господин Чо взял их в руки и почувствовал, как колотятся их сердечки, все еще возбужденные этим долгим днем свободы, проведенным над холмами. Он посадил голубей, одного за другим, обратно в клетки, но кормить не стал, только налил немного воды в подвешенные к прутьям поилки. Сам он тоже ничего не ел и не пил, как будто желая разделить с голубями все трудности этого дня. Великая гордость обуревала его: питомцы выдержали испытание, и теперь успешному возвращению на родину ничто не сможет помешать.

Саломея слегка потянулась в кресле, не шевельнув ни руками, ни ногами, просто расслабив мускулы. Выражение тревоги ушло с ее лица, она чуть ли не улыбалась.

— Ну, так когда же они наконец совсем улетят? — спросила она.

Я ответила:

— Завтра.

Я могла бы сказать: «Сейчас», но дневной свет, как и в моей истории, начинал меркнуть, дождь перестал, и я решила, что завтра будет лучше и для нее, и для меня, и для господина Чо.

И вот настало завтра.

Для господина Чо наступил великий день отлета. Он нанял на базаре грузовичок и вместе с голубями отправился в свое последнее путешествие. Эти места были ему хорошо знакомы, он рос там, когда в 1956 году, после войны, они с матерью вернулись с Юга. Это было совсем недалеко от того места, где он родился, по ту сторону устья реки Ханган. Мать господина Чо решила поселиться здесь, в глухой деревеньке, ей казалось, что так она сможет общаться со своей семьей, оставшейся там, по ту сторону, с пропавшим мужем, с дедушкой, со всеми, кого она потеряла. Иногда она рассказывала сыну о прежней жизни — как они жили в грушевом саду и ни в чем не испытывали недостатка. Об отце господина Чо она говорила совсем мало, он был всего лишь сельскохозяйственным рабочим, но при этом очень красивым, высоким и сильным человеком с прекрасным голосом, которым пел

модные тогда песни; так он ее и соблазнил и сделал ей ребенка, но ее родня его не жаловала. Когда началась война, он бежал, чтобы примкнуть к войскам северян, и больше она о нем не слышала. Тогда она решила уехать вместе с ребенком, переплыла на плоту реку и отправилась на Юг, к Пхохану. Сейчас, когда господин Чо открывал одну за другой клетки с птицами, воспоминания снова роились у него в голове, особенно песня «Ариран», а глаза наполнялись слезами.

«Давайте, летите высоко в небо, летите на мою родину, к домику, что прячется в долине, вы узнаете его по грушевому саду, отнесите письма моим родным, племянникам и племянницам, двоюродным братьям и сестрам, скажите им, что Чо еще жив, отдайте им слова, что я написал для них, туда, на тот берег реки, слова надежды и любви, слова радости и счастья!»

Саломея закрыла глаза в теплом, мягком послеполуденном свете. Она слушает слова господина Чо, слушает шум ветра в крыльях птиц, шорох маховых перьев. Ветер собирает в складки темную воду великой реки, ее поверхность подрагивает, как шкура диковинного зверя, с недалекой уже суши доносятся запахи, звуки полей, людские голоса, детский смех.

Слышишь, Саломея, как с моря дует ветер, свежий утренний ветер? Вдыхай его, почувствуй его кожей лица, ты летишь высоко в небе, к северу, на другой берег света, это твой последний полет вместе с Черным Драконом, с Бриллиантик, с остальными голубями, ветер пьянит, слепит, у тебя перехватывает дыхание, но ты все летишь прямо туда, к конечной цели твоего путешествия, ты широко раскидываешь руки, и ветер омывает все твое тело, ты становишься невесомой — перышком в порывах ветра, листом, лепестком, — а внизу, под тобой, река со своими островами подталкивает тебя вверх, вперед, на север, к стране, куда ты возвращаешься.

Саломея по-прежнему не открывает глаз, а я тем временем говорю все тише, все медленнее. Она раскрывает ладони, ощущая пальцами воздух, она вдыхает ветер, чувствует вкус морской соли и меда с цветущих лугов, колышутся на ветру высокие камыши и листва деревьев, сверкают камелии в живых изгородях, и сходятся в одной точке все дорожки — не дороги, а тропинки, окаймленные каменными бордюрами, деревни синеют жестяными крышами. Эти слова несут ее вперед, ей не надо слышать их, они рождаются у нее в мозгу, взрываясь, как ракеты,

освещающие путь.

Весь день до наступления темноты летят голуби, летят над горами, над долами, над желтыми рисовыми плантациями и рапсовыми полями, над заводами и сортировочными станциями, над серыми деревнями, аэропортами, над реками и озерами. А когда наступает ночь, голуби узнают то место, где родился их хозяин, узкую долину между двумя горами, усаженную фруктовыми садами. Тогда они очерчивают в небе последний круг и садятся на крыши домов — сначала одна пара, потом другая, потом еще и еще, они все тут, никто не отстал, никто не заблудился. Они ступают по крыше сарая, их коготки скрежещут по металлу, а в горлышке рождается мирное воркование, нежная печальная песенка, любовное приветствие перед спариванием.

Саломея, закрыв глаза, слушает голоса обитателей фермы, сначала детские крики: дети первыми заметили голубей на крыше сарая и кричат: «Хо-хо-хо!» Подходят взрослые, один за другим, женщины в фартуках, мужчины с загорелыми лицами, высокие, широкоплечие, с заскорузлыми от работы руками. Все встали перед бетонным домом и смотрят на птиц, которых тут раньше никто не видел. Затем один

из них приставляет к стене лестницу, медленно, осторожно взбирается по ней и хватает Черного Дракона, который даже не сопротивляется: он так утомлен перелетом, что не в силах бороться. Внизу все окружают птицу, и тут, шурша крыльями, сверху слетает Бриллиантик, садится рядом со своим супругом, а за ней и остальные пары. Дети, смеясь, берут их на руки. В этот самый миг маленькая девочка по имени Ми Сун восклицает: «Смотрите, у него к лапке привязана записка!» Она показывает на свернутый в трубочку листок бумаги, мужчина разворачивает его, а женщина громко читает одно слово: «Будущее». Оно как пароль переходит из уст в уста, а тем временем люди, одну за другой, разворачивают остальные записки с посланиями, состоящими из одного слова. Кто-то упомянул наводившее страх имя доносчика, и все отступили на шаг, но голубь спокойно поклевывал рисовые зернышки, которые принесла ему Ми Сун, делясь ими с остальными птицами. Середина дня, начало зимы, зимнее солнце сияет сквозь дымку. Голуби прилетели сюда, повинуясь чьему-то таинственному, но очевидному приказу, они принесли весть из иного мира, который лежит там, по ту сторону устья большой реки, мира, который уже не кажется

таким чужим. Они ходят по земле, среди жителей большого грушеводческого хозяйства. Они достигли цели своего путешествия. Завтра или, может быть, послезавтра Ми Сун и другие дети напишут какое-нибудь слово на листке бумаги, обернут им правую лапку Черного Дракона и то же самое проделают со всеми голубями, только одно слово, «радость», или «любовь», или «счастье», потом возьмут голубей в руки и запустят их высоко в небо, и те полетят обратно.

Саломея сидит, откинувшись на спинку кресла и чуть наклонив голову, ее глаза полны слез, но она не знает, почему плачет, — от радости или от горя. История закончилась, закончилось путешествие.

Я беру ее за руку, долго сжимаю в своей ладони, рука у нее горячая, сухая, словно в лихорадке.

Я тихо ухожу, не попрощавшись. Ей пора принимать процедуры, медсестра уже стоит у двери в гостиную, в полутьме сверкает белизной передник, делая ее похожей на видение. Господин Чо исполнил свою мечту, больше он ничего не желает, мир для него снова стал совершенным. Но здесь, для нас, живущих в ином мире, нет ничего завершенного. Счастья нет. Есть только какие-то грезы, какие-то слова. Ветер с моря, что

ерошит перья птицам, когда они перелетают устье большой реки.

А действительность убивает.

* * *

Сезон дождей оставил меня и Саломею измученными, словно вся эта вода, что текла по улицам и испарялась на перегретом асфальте дорог, вымыла нас, вычистила, выжала и выбросила совершенно обессиленных.

Я решила снова переехать на другую квартиру, мое полуподвальное жилище стало совершенно непригодным для жилья, от дождя на стенах проступили какие-то подозрительные пятна, а огромная крыса, на какое-то время переставшая меня донимать, вернулась с новыми силами, позвав на подмогу приятелей. Каждый вечер она атаковала цинковый лист, который я привинтила к стене, я отчетливо слышала скрежет ее зубов, и мне казалось, что она переварила ту смесь рисовой муки и толченого стекла и теперь, будто привидение, громко перемалывает зубами последние осколки, чтобы отомстить мне! Кроме того, в ванной (на самом деле это простой душ, устроенный прямо над унитазом, по китайскому образцу) я видела тараканов. А как гласит посло-

вица, «Если ты увидел одну крысу, значит, их десять, а если ты увидел одного таракана, значит, их сто»! И пересчитывать их у меня не было никакого желания!

Одна знакомая моей матери дала мне адрес сдающегося жилья на другом конце города, на самом юге, я даже не знала точно, город ли это или уже сельская местность — туда надо было целый час ехать на метро до станции «Орюдон». Я достала чемодан на колесиках, рюкзак, сумку с длинным ремнем, сложила в них все свои вещи — простыни, одежду и даже подушечку в форме зайчика, которую подарила мне мама, когда я уезжала из Чолладо. Ушла я рано утром, пока весь квартал еще спал, чтобы не столкнуться ни с квартирной хозяйкой, которой задолжала за три месяца, ни с ужасным сталкером (хотя тот за сезон дождей совершенно пропал, может, растаял, как снеговик на солнце?). Я уходила, не оставив адреса, не испытывая никаких сожалений. Думаю, что в этом квартале — Эль Сордидо — я прожила худшие месяцы в своей жизни.

Новый квартал мне понравился, потому что он напоминал мою деревню, с ее прямыми, некрасивыми улочками, на которых не было

причудливых магазинов, но не было и крысиных гнезд. Вдоль кирпичного дома проходила улица, усаженная рахитичными деревцами, моя квартира располагалась на третьем этаже, над рестораном, где подавали холодную лапшу, что домохозяйка, дама по имени Ан Со Ёнг, представила как дополнительное преимущество: «В любое время, днем и даже вечером, ты можешь спуститься туда от моего имени, и тебя покормят. И это почти ничего не будет стоить».

Если в Эль Сордидо я ни с кем не зналась, избегая соседей и особенно жадного до долларов домовладельца, то здесь, в Орюдоне, у меня сразу завелись добрые соседи и даже друзья. Это были в основном скромные люди, кроме соседа снизу, который преподавал математику в колледже рядом с университетом Сунконхвэ. Был один сапожник, у которого имелась своя мастерская, устроенная в металлическом контейнере рядом с мостом, горничные из меблированных комнат, домохозяйки, мелкие чиновники, служившие в конторах Синдорима и Йонгдынгпхо[42]. Все они отправлялись на работу очень рано, как и мама-

**[42] Сноски: 42**

Синдорим, Йонгдынгпхо — кварталы в Сеуле и названия соответствующих станций метро.

ши, отводившие в школу своих ребят, а потому по утрам в доме стояла тишина, и я могла спать до полудня (я всегда любила поспать подольше, из-за чего часто ссорилась с отцом, поскольку для работы на рыбном рынке надо вставать до зари).

Нравилась мне и моя новая станция метро. Начиная от Хапчонга, вторая линия метро проходит над землей, перелетает через реку, пробегает у подножия высоких зданий, а в Синдориме первая линия тоже выходит на поверхность, проносится над более скромными народными кварталами, с плохо построенными трехэтажными домами, которые жмутся друг к другу до самого Орюдона. Я видела разные районы города, такие разные, современные здания, большие парки, оживленные улицы, потом снова кирпичные домики под железными крышами, до самого Орюдона. Там надо было спуститься по лестнице, пройти под железнодорожными путями, мне очень нравился этот огромный перекресток с множеством улиц, этот железный мост весь в заклепках. Мне казалось, что я где-нибудь в Америке, я представляла себе, что мост Орюдон похож на Бруклинский мост, а все эти улицы и переулки — на знаменитые нью-йоркские кварталы: Бронкс или Квинс. Мне нравилось

даже название — Орю, оно напоминало название квартала в Токио — еще одной столице, где я мечтала побывать!

К новому месту я привыкла очень быстро. Впервые в жизни я вдруг почувствовала себя свободной! Мне не приходилось ни перед кем отчитываться, и я была так далеко от тетушки и ее драгоценной Пак Хва! Навещать меня они не отваживались! Относительно курса французского языка для начинающих в университете Хонгик мне тоже удалось договориться с моей эксплуататоршей Юн Джа: я буду по-прежнему вести занятия по утрам, а ночевать у нее в кабинете. Она сначала немного поколебалась, потому что такое не слишком-то разрешается, но охранник обычно ложится рано, чтобы смотреть в постели свои сериалы, и после девяти вечера все здание было в моем распоряжении, что позволяло мне принимать душ и пользоваться туалетом без риска попасться. На рынке Сёдемун я купила себе мягкий матрас, который складывала каждое утро и прятала в шкаф Юн Джа. С едой тоже было просто: в маленькой кухне в конце коридора имелась микроволновка и чайник — все, что нужно, чтобы поесть рамина или выпить кофе утром перед занятиями (жуткая гадость

этот рамин — одна соль и специи, и как только бедные студенты этим питаются?!). Все получалось отлично, потому-то я и говорю, что никогда в жизни не чувствовала себя свободнее, чем сейчас.

Мне очень понравилось преподавать французский. Большинство студентов (вернее сказать, студенток, потому что в группе из восемнадцати человек был только один мальчик, и тот похож на девочку) записались, чтобы добавить себе баллов, основными предметами у них значились математика, естественные науки, физика и даже философия. Я работала с ними по сборнику текстов, который назывался «Радость чтения», — название, подходящее скорее для детского сада, чем для университета. Были еще упражнения по грамматике и совершенно невразумительные теоретические тексты. Студенты по очереди должны были прочесть, запинаясь, текст, потом изменить глагольные времена или составить фразы в вопросительной, отрицательной или отрицательно-вопросительной формах.

*Мне кажется, что лодка направляется к острову. Мне не кажется, что лодка направляется к острову.*

*Лодка, как мне кажется, направляется к острову? Не кажется ли мне, что лодка направляется к острову?*

Пока студенты корпели над проблемами синтаксиса, я предавалась сладким мечтаниям, размышляя о словах, что мне всегда нравилось. Я представляла себе, например, лодку на реке Ханган, медленно скользящую по водной глади, без мотора, управляемую человеком, стоящим на корме с длинным веслом; вот она приближается к моему любимому утиному острову, в спокойном мерцании воды, оставляя за собой пенный след из поднимающихся из глубины пузырьков воздуха, и думала о лодке, на которой пятьдесят лет назад перебиралась на другой берег Хан Су, мать господина Чо, с грудным ребенком и парой голубей на руках, и там были те же утки, они не улетели от обстрелов, для них что самолет, что грузовик, что моторная лодка — все едино.

Именно во время занятий, в минуты тишины или когда студенты натужно читали тексты, тщетно пытаясь воспроизвести звуки чужого языка, где буквы «п» и «б» читаются по-разному, где слова изменяются по числам, где язык надо расположить во рту точно под носовыми пазу-

хами, чтобы произнести необычайно гнусавые звуки, — тогда я мысленно начинала сочинять новую историю, чтобы рассказать ее потом Саломее и увидеть, как у той распахиваются глаза, услышать ее шумное дыхание. Так я придумала новый персонаж — певичку Наби.

# История про певичку Наби, рассказанная Саломее

### Сентябрь 2016 года

Она приехала в Сеул еще маленькой, лет, думаю, в двенадцать. Красивая девочка родом из провинции Канвондо[43], из маленького городка под названием Йонволь. По-настоящему ее звали Вон Чан Су, и это было не случайно, потому что имя ее означало «аромат воды», а еще «ностальгия». С самого раннего детства ничего она не любила больше, чем петь. С бабушкой она ходила в христианскую церковь и очень скоро поступила в церковный хор, где распевала религиозные гимны, хлопая в ладоши и раскачиваясь в такт пению, что очень нравилось прихожанам, особенно мальчикам, а вот бабушке, требовательной и властной, к тому же человеку старой закалки, не нравилось совсем.

«Не вихляйся ты так, когда поешь, тебе должно быть известно, что дьявол подстерегает нас по-

---

**[43] Сноски: 43**

Канвондо — провинция в Республике Корея, с административным центром в городе Чхунчхон.

всюду, даже в доме Божием».

Но Наби ее не слушала. Каждый раз при звуках гимна она чувствовала, как музыка проникает внутрь нее, волнами проходит по всему телу, и тогда голос ее становился сильным и звонким, перекрывая другие голоса, так, что в конце концов она стала петь у микрофона одна, а прихожане аккомпанировали ей, отбивая ритм ладонями, и сам пастор, сидя за пианино, немного откидывался назад, чтобы лучше видеть ее и слышать.

Чан Су была красивая девочка, но невелика ростом и в четырнадцать лет выглядела на двенадцать, хотя грудь уже начинала проступать у нее под рубашкой. Она любила одеваться в красивые платья, не скрывавшие ее ног с округлыми икрами, научилась ходить, выгнув спину, потому что прочитала в журнале, что это подчеркивает форму ягодиц, и выглядела таким образом выше, чем была на самом деле. В церкви пастор Рэндалл (это было не настоящее его имя, но он долго жил в Соединенных Штатах и стал называться так) часто встречал ее словами: «Вот и девочка с красивыми ножками!» Бабушке это не нравилось, но она не смела ничего сказать: все же пастор это — пастор, впрочем, Рэндалл был женат на женщине

чуть старше себя с седыми волосами и толстым задом, и никто не позволил бы себе критиковать ее. Поговаривали, что по-настоящему в церкви командует она и даже пишет мужу проповеди.

Христианская церковь располагалась в цокольном этаже высокого современного здания и представляла собой нечто вроде большого цеха, а ее двустворчатая дверь походила скорее на вход в гараж или в ночной клуб. Сразу за дверью находился зал на четыреста мест с возвышением и киноэкраном. Туда-то Чан Су и ходила петь по воскресеньям. Хор состоял из шести мальчиков и шести девочек, все они были одеты в сине-белую форму; и только Чан Су разрешалось выходить на сцену в красивом платьице или иногда в джинсах с белой рубашкой, потому что она была звезда. Она пела гимны в джазовых ритмах по-корейски и по-английски, и пастор Рэндалл часто вставал из-за пианино, уступая место парню с электрогитарой, который аккомпанировал сольным выступлениям Чан Су в стиле «ритм энд блюз».

Чан Су жила только ради этих моментов. Поднявшись на подмостки, она начинала ощущать себя кем-то совершенно другим — не девочкой, которой все командуют, а женщиной, знающей,

чего она хочет, ведущей за собой и умеющей сделать так, чтобы ее уважали. Когда она заканчивала петь, зал аплодировал, что тоже не нравилось ее бабушке, говорившей: «Не надо бы забывать, где мы находимся, это все же не ночной клуб!»

Пастора Рэндалла бабушка Чан Су не жаловала. Все знали, что это никчемный человек, что место пастора он получил, втершись в доверие к прежнему пастору, достойному и наивному старику, и что он потратил немалые деньги, чтобы заручиться голосами влиятельных членов общины, в особенности состоятельных пожилых вдов, крайне восприимчивых к его обаянию и подношениям.

Бабушка Чан Су была строгой, но доброй. Она пыталась исправить ошибку, совершенную матерью Чан Су, которая бросила мужа и дочь и уехала с другим мужчиной. Отец Чан Су был тоже по-своему никудышный человек, бабник и врун, он бессовестно запускал руку в церковную кассу, чтобы потом проиграть деньги на бегах или купить духи очередной подружке. Однако бабушка Чан Су относилась к нему с великим снисхождением, ведь он был ее младшенький, последыш, и она многое ему прощала. Так что всю свою

любовь она перенесла на внучку, на церковные дела, и ей вовсе не было неприятно, что прелестный голосок и стройные ножки Чан Су привлекают в храм новых верующих, наоборот, она всегда говорила, что все должно делаться во славу Божию.

В это время Чан Су жила у бабушки вместе с тетушкой и ее мужем, нервным, злым человечком, однако все в доме подчинялись старой даме, и казалось, будто в этой семье все идет нормально. Даже при взгляде на Джи Сок, отца Чан Су (сам он предпочитал называться Джек Джайп, считая, что такое имя больше подходит к его деятельности, — он был букмекером), могло создаться впечатление, что он живет нормальной, упорядоченной жизнью. Каждое утро все завтракали вместе в комнате, примыкавшей к церкви, и бабушка Чан Су раздавала каждому инструкции на день. Затем Чан Су отправлялась в школу по соседству, где она с трудом заканчивала четвертый класс. Нельзя сказать, чтобы она ненавидела школу, но все, что там говорилось, о чем болтали одноклассницы, казалось ей страшно далеким от ее собственной жизни. Они разговаривали о шопинге, о макияже, о мальчиках, с которыми познакомились, о спортивных соревновани-

ях и телесериалах. В доме у бабушки Чан Су был, конечно, телевизор, но он использовался исключительно для просмотра христианских видеофильмов. Самое интересное, что Чан Су видела за свою жизнь, был фильм «Нарния» (он привел ее в восторг), бабушка объяснила ей смысл этой истории, где Лев символизировал Господа нашего Иисуса Христа, а сражения — подлинные битвы, которые должны вести истинные христиане, чтобы найти свой путь среди нечестивцев.

В это самое время Чан Су выпала самая большая удача в жизни, удача, которая должна была дать окончательное направление ее будущей карьере и сделать девочку певицей. Судьба явилась ей в образе одной продюсерской фирмы, подыскивавшей кандидатуры для записи песен и гимнов религиозной тематики. Пастор Рэндалл вызвал Чан Су к себе в кабинет. Он ни с кем еще об этом не говорил, но, если Чан Су пожелает, она вполне может стать той самой певицей, которую ищет фирма. Сердце у девушки бешено заколотилось: она давно уже мечтала о том, что сказал сейчас пастор, — что придет когда-нибудь и ее час и она сможет наконец посвятить себя тому, что любит больше всего на свете, — мечтала и не могла поверить в такую возможность. Но в то же время

она сомневалась. А согласится ли бабушка? Одно дело петь в церковном хоре для прихожан и совсем другое — петь для продюсеров, зарабатывая при этом деньги. Она стояла перед высоким мужчиной, заложив за спину руки со скрещенными пальцами — на удачу. Она не знала, что ответить, чувствовала, как краснеют щеки, и ей было стыдно, что это заметно.

Прослушивание состоялось на следующий день в помещении студии «Иерихон», на другом конце города. Чан Су отправилась на встречу на метро и у входа в здание увидела пастора Рэндалла, стоявшего посреди небольшой группы людей. Нарядная, немного высокомерная женщина провела ее в студию звукозаписи. Для пробы, с согласия Рэндалла, было выбрано песнопение на английском языке, девушка плоховато знала этот гимн, но слышала его по радио. Там были такие слова:

*King of all days*
*Oh so highly exalted*
*Glorious in Heaven above*
*[…]*
*Here I am to worship Here I am to bow down…*[44]

---

**[44] Сноски: 44**

Царь всех времен/Хвала тебе/Будь славен на небесах/Видишь, я здесь — поклоняюсь Тебе/ Я здесь — падаю ниц пред Тобой… (*англ.*)

Чан Су набрала воздуха в легкие, выпрямилась, слегка откинувшись назад, и запела своим чуть низковатым голосом, без аккомпанемента. Постепенно ритм музыки увлек ее, и она стала раскачиваться в такт пению, закрыв глаза, словно стояла перед толпой прихожан на церковном помосте:

*Here I am to worship Here I am to bow down…*[45]

Закончив, она открыла глаза. Операторы звукозаписи, нарядная женщина и даже пастор Рэндалл смотрели на нее, и по их взгляду она поняла, что ее берут. Тело била дрожь, и, покидая студию после подписания контрактов, она вынуждена была опереться о руку пастора. Она словно заново родилась в каком-то новом мире, под новым солнцем, ей не терпелось поделиться новостью с бабушкой, но, услышав о подписанном ею контракте, та воспротивилась:

— Как это шестнадцатилетняя девочка может что-то там подписывать? Это даже смешно! Разорвать эту бумажку и не думать о ней больше!

Последовавшие за этим недели были для Чан Су очень трудными. Упрашивать бабушку она не

---

**[45] Сноски: 45**

Видишь, я здесь — поклоняюсь Тебе/Я здесь — падаю ниц пред Тобой… (*англ.*)

смела, но мысли о новой жизни — жизни певицы, крутились у нее в голове днем и ночью — ночью особенно, доводя до головокружения.

Рэндалл решил переубедить строгую даму. «Это же для веры нужно, не для развлечения, — говорил он. — Дар свыше — никто не имеет права его отменять». В конце концов старая дама уступила: пусть Чан Су записывается два-три раза в неделю, только чтобы это не сказалось на ее учебе и христианских обязанностях. В тот день Рэндалл позвал Чан Су к себе в кабинет, чтобы объявить ей хорошую новость. Это было в будний день, незадолго до полудня, в здании в это время никого не осталось. Когда Чан Су отправилась на эту встречу, у нее сильно билось сердце, потому что пастор успел сообщить ей, что добился согласия ее бабушки и что она сможет начать записываться и стать ведущей певицей студии «Иерихон». Но она и подумать не могла, что пастор устроил ей ловушку.

«Подойди, девочка», — сказал Рэндалл, когда она вошла. В кабинете было жарко от полуденного солнца, пробивавшегося сквозь задернутые красные шторы. В этом полмраке, в тишине закрытой церкви было нечто возбуждающее. Сцепив за спиной руки, Чан Су слушала, как сту-

чит у нее в груди сердце. «Подойди, не надо меня бояться, мы же давно знакомы с тобой, правда?»

Почему он так говорит? И голос у него странный: не тот громкий голос, которым пастор Рэндалл отчитывал по воскресеньям прихожан, и не тот тихий, чуть слащавый голосок, которым он подпевал священным песнопениям, когда аккомпанировал хору на пианино, напирая на «а» и «о» и особо четко произнося «ч» и «к». Сейчас его голос был похож на выдох, затихавший на сжатых зубах, словно он нашептывал ей какую-то тайну. Чан Су слушала его, не в силах двинуться с места — ни подойти к столу, как велел ей пастор, ни отпрянуть. Ее ноги словно приросли к деревянному полу кабинета, она стояла почти не дыша, опустив глаза, ожидая того, что случится дальше, что обязательно должно случиться, как в страшном сне.

«Чан Су, Чан Су, я все время думаю о тебе, ты — моя девочка с красивыми ножками, ты — мой огонек во тьме, знаешь ли ты это?»

Пастор Рэндалл не встал из-за стола, но его длинное тело наклонилось вперед, постепенно соскользнуло со стула и оказалось вдруг всего в нескольких сантиметрах от Чан Су; она чувствовала это, хотя и не видела, ей казалось, что

этот человек, обычно такой чопорный, отстраненный, вдруг уподобился змее, извивающейся на поверхности стола, лицо его приближалось к ее животу, груди, он продолжал говорить, она чувствовала на платье горячее дыхание, но слов не понимала, только слышала, как он шепчет что-то, с присвистом повторяя ее имя, — настойчивые, низкие звуки, вздохи, перемежающиеся с молчанием.

«…Красивые ножки, красивые ножки…» — твердил голос, и Чан Су не понимала: неужели он это о ней, о ее ногах, ее теле. Теперь она смотрела на него, видела капельки пота, блестевшие у него на лбу, там, где волосы уже совсем поредели, и на кустистых бровях, видела его веки, серые и морщинистые, видела его тело, мятый воротник белой рубашки, упирающиеся в стол локти, испещренные ветвистыми венами руки, двигавшиеся по столу словно два мускулистых темных зверька. Руки, завладевшие ее ногами и теперь медленно поднимавшиеся выше, к запретным местам.

Я умолкла. Смотрю на Саломею, голова у той склонилась набок, словно шее недостает сил, чтобы держать ее прямо, кожа на лице стала землистой, веки сомкнуты. Когда я перестаю

говорить, она открывает глаза и смотрит на меня — не знаю, что читается в ее взгляде: страх или гнев. А что она думала? Что я буду рассказывать ей сказки про фей и принцесс, про волшебную голубую страну? Когда моя тетя Ми Гён рассказывала свои истории про вампиров и оборотней, про злых духов и колдунов, гладя меня по волосам, все мое тело била сладостная дрожь, как будто я подглядывала через какую-то запретную дверь и мне открывался темный мир, мир зла, лежавший совсем близко от поверхности обычной жизни, тут, рядом, стоит протянуть руку. Это ощущение я и хотела передать Саломее.

— Рассказывай дальше, пожалуйста, *онни*!

Саломея назвала меня *онни*, «старшей сестрой», так же, как я когда-то называла Ми Гён. Она говорит со мной жалобным голосом маленькой девочки, и я вдруг понимаю, что, попав в зависимость от моих слов, моих историй, она и правда стала для меня младшей сестричкой — моим созданием! Не знаю почему, но это открытие, которое должно было бы мне польстить, привело меня в смятение, даже голова закружилась. Мы вдруг поменялись ролями: я, которая прежде была наемным работником, чьи услуги она оплачивала пятидесятитысячными купюрами

с изображением пожилой дамы, вдруг превратилась в ее госпожу, за которой она теперь слепо следует, повинуясь извивам моего воображения, отдаваясь на милость моих слов, моих желаний; теперь в моей власти продолжать дальше или остановить этот поток, продлевающий ей жизнь и отдаляющий час ее смерти.

Свет угасает на красных шторах, задернутых от солнца, на которое Саломея не может смотреть из-за болезни. Когда она пожаловалась на боль, гнездящуюся внутри ее глаз от дневного света, я купила в торговом центре на Фэшн-стрит, в Ихве, синие очки, она примерила их и положила на столик рядом с собой, а теперь они исчезли. Она ничего не сказала по этому поводу, но я поняла, что ей не нужны никакие переодевания, что она хочет сама бороться с возникающими трудностями.

То, что произошло в тот день в кабинете пастора Рэндалла, стало для Чан Су началом катастрофы. Она никому не рассказала об этом, тем более бабушке, но с этого дня она перестала бывать в церкви. Она ничем это не объяснила. Когда бабушка сказала ей: «Чан Су, *девочка*, твое место в хоре», она не ответила, только посмотрела куда-то вдаль, и взгляд ее был таким печальным,

таким непроницаемым, что бабушка не стала настаивать. Потом она познакомилась с группой музыкантов, ребят старше ее, игравших по вечерам рок в клубах, и стала у них солисткой. Альт-гитарист группы, высокий парень по имени Дэвид Чои, сказал ей: «Ты вошла в состав группы и должна выбрать себе имя». Ей это понравилось, она не хотела больше, чтобы ее звали как маленькую девочку, и выбрала себе в качестве имени название насекомого — Наби, «бабочка». Сначала она решила было назваться Мудангболле — «божья коровка», *потому что уж очень ей нравились эти букашки в крапинку, которые садятся иногда на руку, а потом улетают прямо на небо, чтобы исполнить некую тайную миссию.* Но Наби — короче. И потом она подумала, что божьи коровки такие маленькие, хрупкие, того и гляди попадутся в ловушку к какому-нибудь пауку. Кстати, сценическое имя любимой певицы Чан Су как раз и было Паучиха. Решено, с сегодняшнего дня она — Наби, и останется ею навсегда.

Я устала рассказывать, а Саломея устала слушать, я вижу это по ее отяжелевшему взгляду, по пепельному цвету ее век. На этот раз чая не будет, у меня просто не хватит духу поставить кипятиться воду, ждать, потом лить воду в зава-

рочный чайник на бумажные пакетики. Может, это история про Наби съедает всю нашу энергию, может, она из тех историй, которые не хочется слушать до конца?

Я ушла не попрощавшись, не поприветствовав медсестру, стучавшую на кухне по кнопкам своего телефона. Может, в моей истории все слишком ожидаемо, безнадежно? Тогда это похоже на жизнь Саломеи, по крайней мере на ту ее часть, которую ей остается прожить. Моя приятельница Юри, которая заканчивает учебу по специальности эпидемическая патология и проходит практику в больнице в Ёнсе, рассказывала мне о синдроме Зудека, которым страдает Саломея, неизлечимой болезни непонятного происхождения, которая мало-помалу лишает ее жизненных сил, — она медленно увядает, как цветок. Функции организма отключаются одна за другой, день за днем, ночь за ночью, все, кроме мозга, воображения, тревоги, жажды счастья или обиды, ревности, дьявольских замыслов. Человек становится похожим на межпланетный корабль, затерявшийся в бескрайнем космосе: голова его уже ничем не командует, и он пассивно наблюдает собственное крушение. Юри говорит: «Это не болезнь, Битна, а скорее проклятие». Слово

«проклятие» удивляет меня, но я понимаю: Юри очень религиозна, она — христианка последних дней, как их называют, она вспоминает историю Иова, как тот сидел на гноище, а его точила неведомая болезнь, потому что так захотел Господь. Я знаю, что нужно смириться, осознать, что мы — ничто, не роптать — не жить. Но мне ближе буддисты, даже если я по-настоящему не верю в реинкарнацию, я верю, что жизнь — это океан, который омывает нас всех, и что со смертью все мы перейдем в иную форму бытия, о которой нам ничего не известно. А еще я верю, что все мы связаны между собой, дети с родителями, родители со своим потомством, а те, кто еще не родился, соприкасаются с живущими сегодня и протягивают руку тем, кого уже больше нет…

– *Онни,* я так боялась, что вы больше не придете.

Саломея пытается выпрямиться в кресле, подложенная ей под спину подушка соскальзывает, и при попытке удержать клетчатый плед, которым она укрыта, несмотря на установившуюся после ливней удушливую жару, падает на пол. Я вижу ее ноги, тонкие-тонкие и очень бледные, они согнуты в коленках, как у жокея, скачущего верхом на невидимой лошади. Я возвращаю плед

на место осторожно, как будто я старшая сестра, и вижу, как ее рука приподнимается с подлокотника, чтобы коснуться моего лица, погладить волосы.

— Надо заканчивать с этой историей про Наби, она и правда слишком печальная!

Саломея произнесла это наигранно веселым тоном, но сдавленный голос выдавал ее тоску.

Я ответила в том же тоне:

— Да, пора. А потом я закончу историю про убийцу-недоучку и расскажу про двух Драконов.

Саломея просияла от радости:

— Да, да, пожалуйста, я так люблю сказки!

Неужели Саломея сделала выговор медсестре? Госпожа Ван (так зовут эту царственную особу) входит в гостиную, держа в руках поднос с чайником, чашками и сухими пирожными из соседнего гипермаркета. Как Саломея догадалась, что у меня нет денег и из-за этого я со вчерашнего дня ничего не ела? Может быть, это присущая больным людям особая тонкость позволила ей понять, что я пришла сегодня, чтобы закончить начатую вчера историю и получить, как всегда, плату красивыми, хрустящими бумажками по пятьдесят тысяч?

Теперь Наби живет совсем другой жизнью, ко-

торая в корне отличается от всего, что она знала раньше. Она ушла из бабушкиного дома, ничего никому не сказав, просто вылезла однажды в окно первого этажа и оказалась на улице без вещей, без денег. Поселилась она в студии звукозаписи у ребят (ее пригласил Дэвид Чои), в подвале большого жилого дома в южной части города, среди улочек, расположенных вокруг станции метро «Кёдэ», ребята купили ей *матрас, передвинули мебель и аппаратуру к стене, в полуподвале есть раковина и туалет, ей тепло и тихо, как внутри кокона.*

Каждый вечер Наби просыпается, приходят ребята, они играют на своих инструментах, а Наби поет написанные ими песни, потом она сама сочиняет слова, мелодии, и уже они поют ее песни. Для нее это самые прекрасные моменты, звуки музыки наполняют маленькую студию, бьются о стены и потолок, стремясь вырваться наружу, а она выкрикивает слова то пронзительным, то тихим, хриплым голосом. Чои говорит, что у нее очень сексуальный, низкий голос, ему хотелось бы, чтобы Наби побольше двигалась во время пения, этого обычно ждут от рок-певицы, но Наби решила стоять неподвижно, держась очень прямо. Ее костюм — джинсы и белая рубашка,

и парни тоже стали одеваться так же, сменив свои шорты, бермуды и пестрые футболки на черные джинсы и белые рубахи с длинными рукавами. Они и название поменяли, теперь их группа называется не «Фламины», не «Декстер» или «Интро», и даже не «Черные джинсы, белые футболки», нет, они называются просто «НАБИ». Они взяли себе ее имя, играют для нее, живут для нее.

Саломее нравится это место в истории, глаза у нее светятся, видно, что она пытается представить себе эту маленькую студию, бушующую в ней музыку, отскакивающий от стен грохот барабанов и маленькую Чан Су, неподвижно стоящую посередине, с блестящими в свете вися-щей под потолком лампочки черными волосами и перекрывающим музыку низким голосом, произносящим слова — бессвязные, свободные, слова, которые сильнее действий, сильнее смерти.

После этого все пошло очень быстро и для нее, и для группы «НАБИ».

Легенда о певице из «Иерихона» разлетелась по Сети, и ребята воспользовались этим, чтобы выйти на продюсеров, организовать частные вечеринки, концерты в клубах Гангнама, вы-

ступления на публичных праздниках, на эстраде, построенной перед торговым центром «Синчхон Стейшн» в Инчхоне. Самой Наби заинтересовался один фотограф, немного эксцентричный, немолодой уже человек, державший на острове Йоидо[46] студию под названием «Перл Андеграунд». Ради Наби (вдохновившись, несомненно, ее именем) он переоборудовал свою студию, сделав из нее настоящий птичник, где среди магнолий в горшках свободно порхало множество птичек самых разных видов и окрасов и даже бабочек. Наби и представить себе не могла ничего подобного, ей казалось, что она грезит наяву. А ее фотографии, сделанные Нам Гильем, были и вовсе удивительные: лицо во всю стену, глаза с расширенными зрачками будто отражение свинцового моря (чтобы расширить зрачки, он дал Чан Су выпить какого-то странного напитка, отвара цветов красного дурмана, и она еще долго грезила после позирования). Но Нам Гиль был очень добрый, пухлый, как толстый кот или плюшевый мишка, Наби свернулась калачиком и проспала у него на руках до вечера, а он нашептывал ей на ухо ласковые слова. Давно уже в ее жизни не было

**[46] Сноски: 46**
Остров в центре Сеула, на котором расположен известный парк.

ничего хорошего, давно не чувствовала она такой нежности по отношению к себе, с тех самых вечеров, когда Ми Гён, двоюродная сестра тетушки, рассказывала ей свои истории про колдунов и оборотней.

Саломея внимательно вслушивается в каждое слово, как будто эта история — про нее. Она знает, что я ничего не сочиняю. Сочинять я никогда не умела, я только меняю имена, придумываю новые места. Но она, конечно же, не может знать, что у меня самой есть тетя по имени Ми Гён и что она просто чемпионка по запугиванию маленьких детей.

— Этот фотограф, Нам Гиль, — друг? — спрашивает Саломея.

— Нет, — отвечаю я. — Он такой же волк, как и остальные, как Рэндалл, например; Наби для него — такая же добыча, как и для сталкера. Вы же знаете, как в Библии написано, «как овца среди волков» — вот так и у нее. Поэтому ее бабушка и не хочет, чтобы она становилась певицей вне церкви, она слишком хорошо знает, что ждет внучку, но не может помешать ей в этом, Наби должна сама до конца пройти путь, который выбрала.

Мне показалось, что при этих словах Саломея

содрогнулась. Для нее — я знаю это — мои истории — не просто истории, это обжигающие кожу прикосновения, иглы, пронзающие ее суставы, резкая боль в глазах. Она просит рассказывать снова и снова, но они причиняют ей боль, и она их боится. Мне кажется, что сквозь кожу рук я различаю стук ее сердца, мне видно, как на запрокинутой шее, на уровне яремной вены, бьется пульс.

Но я должна рассказывать дальше, во что бы то ни стало, даже если каждая из моих историй отнимает у Саломеи мгновение жизни.

Так Чан Су прославилась под именем Наби и стала любовницей фотографа Нам Гиля. Ребятам это не понравилось, потому что они были влюблены в нее все трое, пусть даже с ними у нее это не заходило дальше простого флирта — между концертами, то с одним, то с другим, а то иногда и со всеми вместе, в сумраке ночных клубов, среди жары и света прожекторов — как грозовой электрический разряд. С Нам Гилем все было спокойнее, первый раз это случилось у него в студии, среди вьющихся растений и порхающих птиц, он расстегнул на ней блузку, поцеловал ее в грудь, и они потихоньку занялись любовью, она ничего не почувствовала, но ей была приятна бли-

зость его тела, исходивший от кожи мускусный запах, длинные распущенные волосы, скрывавшие лицо. Потом фотографии Наби появились в глянцевых журналах, сначала в Сеуле, затем в Соединенных Штатах, в «Вог», в «Эсквайре», в «Форбс», потом почти одновременно повсюду в мире, в Мексике, Англии, во Франции. Теперь продюсеру не надо было выклянчивать для нее «прайм-тайм», ее стали приглашать лично, она была «гвоздем программы», ее имя печатали на афише самыми крупными буквами, и Нам Гиль уволил продюсера, он сам стал и продюсером, и «покровителем», а может, и забирал часть прибыли: так подумывали ребята, они очень скоро и сами узнали, почем фунт лиха, когда их тоже спровадили, заменив на музыкантов, которых Нам Гиль подбирал к каждому концерту, — не каких-то там мальчишек-самоучек, а настоящих музыкантов, опытных, признанных, а также звукооператоров, которые работали в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а не в подвале со звукоизоляцией где-то в Синчхоне, среди коробок с яйцами.

Теперь Наби больше не писала песен, она попыталась было предложить их, но Нам Гиль на уговоры не поддался: «Наби, малышка, — сказал он ей; он никогда не говорил громко, всегда очень

мягко, и гладил девушку по голове, словно был ей не любовник, а «оппа» — старший товарищ. — Я знаю, что для тебя лучше, время детских песенок прошло, пора начинать жить настоящей жизнью, ты — великая певица, ты будешь разъезжать по всему миру, собирать полные залы в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, и здесь все будут следить за тобой, любить тебя — тебя, сироту, выросшую без матери, певшую в церкви, которую все обижали, презирали, которая вынуждена была сбежать из дома, чтобы не случилось несчастья, — вот это реванш!»

Он говорил так, и у Чан Су из глаз текли слезы, струились по щекам. Впервые в жизни она ощущала грусть, что глубоко укоренилась в ее сердце, комком стояла в горле и завязывалась в узлы в животе. Ласковый голос Нам Гиля проникал внутрь ее существа, один за другим развязывая узлы и высвобождая копившуюся в памяти влагу, и эта влага ручьями текла у нее из-под век.

Фотограф сказал правду: теперь у Чан Су не было ни одной свободной минуты, каждый день она готовилась к гастролям, записывала диски, выступала на радио или телевидении. Она не могла больше жить все равно где, как жила до сих пор. Нам Гиль нашел для нее квартиру в высоком

доме недалеко от реки, на тринадцатом этаже, наскоро обставил ее: матрас, пластмассовые кресла, большой телеэкран. Преимуществом жизни в большом доме была полная анонимность, там никто никем не интересовался, вход охранялся кодовым замком, а главное — консьержем, полицейским на пенсии, способным отвадить и посторонних, и любопытных. Этот человек сразу проникся к Наби дружеским расположением, он всегда вежливо здоровался с ней, когда она приходила или уходила, и девушка отвечала ему очаровательной улыбкой. Впервые в жизни она чувствовала себя свободной и счастливой, фотограф окружал ее заботой и вниманием, а в душе у нее жила музыка. Она казалась себе заласканным домашним питомцем, чем-то вроде куклы — нежной, мечтательной; часами сидела она на матрасе перед огромным окном, глядя на сверкающую вдали реку. Временами Наби вспоминалась ее прежняя жизнь, ей недоставало этого прошлого, особенно общества троих парней. Она почти ничего не знала о них, иногда они поджидали ее на тротуаре у выхода с концерта вместе с толпой истеричных девчонок, истошно кричавших при ее появлении. Ребята пытались сказать ей что-то, но их оттесняли телохраните-

ли, а фотограф тем временем брал Наби под руку и увлекал к припаркованному у тротуара лимузину. Что они хотели сказать ей? Она понятия не имела об этом, но всякий раз у нее щемило сердце, словно они были посланцами из ее предыдущей жизни, словно знали что-то такое, чего не знала она, и являлись, чтобы предупредить об опасности.

Один раз она заговорила об этом с Нам Гилем, но тот резко отмел ее предположения: «Не думай ты обо всем этом, Наби, они больше не имеют для тебя никакого значения, я даже больше скажу: они завидуют твоему успеху, деньгам, они хотели бы, чтобы ты с ними поделилась, я знаю, что они думали даже нанять адвоката, чтобы заявить о своих правах, я потому и сказал, чтобы ты больше не пела старые песни, они жадные, высосут из тебя всю кровь по капле!» Эта новость очень расстроила Наби, она не могла поверить, что ребята, которые когда-то выручили ее и были так добры к ней, могли за несколько лет до такой степени измениться. Она вдруг почувствовала себя страшно одинокой, одинокой, несмотря на толпы, приходившие послушать ее во время турне, несмотря на встречи с журналистами и продюсерами, несмотря на подарки Нам Гиля,

на его предупредительность. Единственным человеком, с кем у нее сложились нормальные отношения, был старый полицейский, живший в комнатке под лестницей при входе в дом. Она не знала его имени, но иногда вечером, когда у нее выдавалось свободное время, спускалась на первый этаж, чтобы поболтать с ним; он рассказывал ей о себе, о жизни после войны, о своей маме, которая под бомбами переправилась через реку, неся его на спине, он даже показал ей фото, которое нашел в Интернете. Фотографию сделал американский солдат, на ней была изображена молодая женщина, одетая в лохмотья, как нищенка, у ног ее валялись какие-то узлы с тряпками, а за спиной в большом платке был привязан грудной ребенок с огромными от голода глазами, голым черепом, сопливым носом и черными от пыли губами. «Вот, это я с мамой, мы только что пересекли тридцать восьмую параллель и направлялись на юг». К узлам с тряпками был привязан мешочек с проделанными в нем дырками, в котором находились два почтовых голубя, но о них он ничего не сказал.

Позади женщины виднелась пустынная, изрытая бомбами местность. И большая река, которую Наби сразу узнала. Она не была уверена, что

консьерж говорит правду и что на фото действительно изображен он со своей мамой, но его рассказ тронул ее, и после, всякий раз, когда она об этом думала, на глаза у нее наворачивались слезы, потому что она вспоминала о своей матери, бросившей ее, когда она была еще совсем маленькой, и уехавшей с чужим мужчиной.

Саломея слушает, возможно, она тоже взволнована, потому что это в какой-то степени и ее история: мать с отцом, чтобы избежать неизлечимой болезни, решили покончить жизнь самоубийством, оставив все свои средства дочери, и вот теперь ее очередь болеть, а в конце пути, очень недалеком, ее ждет смерть.

В жизни Наби появился новый персонаж. В один прекрасный день их познакомил Нам Гиль. Ее звали Ким Ю Ми, ей уже исполнилось двадцать три года, у нее было чуть длинноватое лицо и очень гладкие черные волосы до пояса. Она должна была стать ее пресс-атташе, готовить встречи певицы с журналистами, составлять график мероприятий на каждый день. Она говорила тихим голосом, почти робко, и держалась всегда на отдалении, позади Нам Гиля. Прошло совсем немного времени, и Наби уже не могла без нее обходиться, она стала единственным человеком,

осуществлявшим связь между ней и остальным миром. Они подружились. Она проводила с Наби часть дня между концертами, ходила с ней в ресторан или за покупками. Говорила она мало, слушала Наби. Сначала она называла ее «тонсэн», словно Наби в действительности была старше нее. Наби воспротивилась: «Зови меня „онни“, если тебе так хочется, но я тебе не хозяйка». Чтобы той было легче, она стала называть ее «ётонсэн», «маленькая сестренка», но Ким Ю Ми не нашла ничего лучше, как обращаться к ней Чан Су-сси. *С ее появлением жизнь Наби изменилась, она больше не* просиживала подолгу на матрасе, глядя в окно. Перед выходом она ждала звонка Ким Ю Ми, они вместе брали такси, вместе ехали в торговый центр, вместе обедали наскоро в ресторанчиках Хондэ, а вечером иногда даже ходили вместе послушать хип-хоп в каком-нибудь клубе. В этот самый период Наби узнала, что ее бабушка тяжело больна. Они не виделись уже несколько лет, старая женщина крайне неодобрительно отнеслась к той жизни, которую выбрала для себя Чан Су, и каждый раз, когда девушка пыталась наладить с ней контакт, ей сухо отказывали в этом. Через одну родственницу Наби не без удовлетворения узнала, что скандал в конце

концов все-таки разразился, пастор Рэндалл был изобличен при попытке изнасилования одной девочки из хора, ее родители, во избежание скандала, не стали подавать жалобу (естественно, под давлением общины), но негодяя перевели куда-то очень далеко, в Западную Африку или во Вьетнам, и больше о нем никто не слышал. Его толстозадая супруга развелась с ним и нашла себе нового мужа, так что все успокоилось. Но Чан Су горько было чувствовать себя брошенной, отвергнутой, как будто она в чем-то виновата. И вот, когда бабушка прислала ей сообщение с предложением увидеться, Наби ни минуты не раздумывала. За организацию встречи взялись Нам Гиль и Ю Ми. Они не предупредили девушку, но им удалось превратить эту встречу в медиасобытие. Это должен был быть концерт в церкви с исполнением гимнов и спиричуэлс под неусыпным надзором тщательно отобранных телекамер.

Церемония состоялась зимним вечером, незадолго до Рождества. Шел снег, в городе уже зажглись праздничные фонарики, в переполненной церкви повсюду были елки, подарки, украшенные ватными шариками комнатные растения. Наби поднялась на подмостки, туда,

где когда-то появлялась в простом платьице или в продранных на коленях джинсах и кроссовках. Для этого же выступления Нам Гиль приготовил ей красное облегающее платье и туфли-лодочки с декором в виде конфетти. В первом ряду Наби заметила одно пустое место, и, пока она думала, кто же его займет, в зале появилась бабушка, которую поддерживали две женщины. Старая дама оделась в черное, ее завитые волосы были уложены наподобие шлема, она тщательно подкрасилась, чтобы скрыть бледность. Медленно прошла она к своему месту, села очень прямо и посмотрела на Чан Су. Это был прощальный взгляд, но старая дама не выказала ни малейшей эмоции, она не улыбнулась и только смотрела жестким взглядом прямо в глаза внучке. Наби пела как раньше, почти не двигаясь, выгнув спину, сначала одна, потом музыканты взяли гитары, ударница ударила в барабан, и весь зал воспламенился, подпевая хором слова гимна *Here I am to worship, Here I am to bow down,* отбивая ладонями ритм, а в самом конце, когда после долгого молчания Наби медленно, низким, хрипловатым голосом запела слова «Арирана», восторгу публики не было предела. И всё, никакой встречи, Нам Гиль был категоричен: «Когда закончишь

петь, то спустишься с подмостков и уйдешь через заднюю дверь, Ю Ми тебе поможет». Ему не было нужды объяснять такое решение, потому что, едва стихли последние такты песни, старая дама встала со своего места и, даже не оглянувшись, направилась в глубь зала в сопровождении своих помощниц. «Если ей надо будет снова увидеться, она сумеет тебя найти». Но бабушка, очевидно, не простила ее, потому что продолжения у этой рождественской встречи так и не было. В феврале из пришедшего ей на телефон сообщения Чан Су узнала о смерти бабушки, скончавшейся в результате инсульта. Она и сама удивилась, что ничего не почувствовала, — ничего, кроме гулкой пустоты, словно в голове у нее все еще звучал последний церковный праздник.

Той зимой Чан Су узнала, что Ю Ми, которую она считала своей подругой, которую называла «сестричкой», была любовницей фотографа. Узнала она и то, что с банковских счетов сняты все деньги и ей ничего не осталось. За квартиру, в которой она жила, не платили уже более полугода, и банк, являвшийся ее собственником, уже начал процедуру судебного возмещения убытков. В конце зимы, в апреле, Чан Су предстояло переехать на новое место жительства. Деваться

ей было некуда, и одна мысль, что она должна что-то поменять в своей жизни, столкнуться лицом к лицу с реальной действительностью, вселяла в нее ужас. Последние пять лет она жила как робот, жизнь ее проходила между шумными концертами, репетициями с каждый раз новыми музыкантами и тишиной этой квартиры, где она ждала Ю Ми, приходившую все реже и реже, теперь понятно почему. Что касается Нам Гиля, он был по-прежнему ласков и предупредителен, иногда ему даже случалось заниматься с ней любовью в пустой квартире, а потом он убегал, всегда спеша, словно опаздывал на деловое свидание или должен вовремя вернуться к семейному очагу. Однажды он предстал перед Наби с длинной царапиной на левой щеке, объяснив ее нападением дикого кота, но Наби поняла, что эту отметину оставила своему любовнику Ю Ми, чтобы все узнали правду. Все это крутилось у нее в голове, назойливо визжало, как пила, — пронзительным визгом ревности и презрения, отравлявшим ее еще больше, чем соджу, который она пила бутылками, чтобы заснуть. После предательства Ю Ми и Нам Гиля слава Наби пошла на убыль. СМИ она поднадоела, а может, они нашли другую девицу, помоложе, какую-нибудь рок-пе-

вичку в мини-шортах и блестящих курточках, которая красила волосы в красный цвет и поэтому называлась Рыжей Энни[47] (как в мультике). В жизни Наби наступила тишина. Она почти не выходила из квартиры, сидела в прострации перед окном, мечтала улететь далеко-далеко, за горы, в страну, откуда давным-давно пришел со своей мамой господин Чо и куда он, по его же словам, однажды вернется. Только полицейский навещал ее раз в день, приносил ей поесть, ничего особенного, так, часть собственного обеда в котелке с двойным дном, — рис с кимчхи, суп из мозговой кости, кусок соленой рыбы-сабли. Он прекрасно понимал, что Наби не хочется разговаривать, ставил котелок перед дверью, звонил в звонок и уходил. И эти моменты были единственным проявлением человечности в ее жизни.

Истории конец, она это знает, даже если бы мне хотелось, чтобы все было по-другому, я ничего не могу сделать. Саломея сидит, чуть наклонившись вперед, резко выступают жилы у нее на шее, я вижу, как под кожей, по обе стороны горла,

**[47] Сноски: 47**

Имеется в виду персонаж японского мультфильма «Анна из Зеленых Мезонинов», вышедший в 1969 году. Главная героиня мечтает иметь семью и дом.

пульсирует кровь в яремных венах.

— Дальше, пожалуйста, Битна. Не оставляй эту историю незаконченной, как ты делала раньше. Я хочу знать о Наби все, мне это нужно, понимаешь?

Дело не в деньгах, которые Саломея платила. Думаю, если бы я могла дать задний ход, отдать ей все эти пятидесятитысячные бумажки, забыть кривоватую улыбку этой золотой дамы, оплачивавшей несколько последних месяцев мое питание и жилье, я сделала бы это не раздумывая.

— Пожалуйста, пожалуйста, — повторяет Саломея слабым гнусавым голоском капризной девочки, раскачиваясь при этом взад-вперед с таким трудом, что ее пальцы, вцепившиеся в подлокотники кресла, становятся совсем белыми.

Это случилось на рассвете, говорю я. Рассвет — самое тяжелое время для тех, кому плохо, потому что в этот час день приходит на смену ночи, а им так и не удалось вкусить покоя. Чан Су прошла в маленькую кухню, вернее, доползла до нее, продолжая сидеть на полу с подогнутыми под себя ногами, может, это из-за алкоголя и лекарств ей было не встать, или она не хотела видеть свое

отражение в оконных стеклах, в зеркале шкафа в гостиной, в экране выключенного телевизора. В руке она держит предмет, о котором раньше никогда не думала, — металлическую вешалку, «плечики», из тех, что выдают в химчистке вместе с отглаженными, застегнутыми на все пуговицы платьями. Вешалка скребет кухонный пол с неприятным скрежетом, соседка снизу, наверно, опять станет жаловаться, она вечно жалуется на шум у себя над головой: то на цокот высоких каблуков, то на грохот посуды в раковине, то на хромоногий диван, который вечно стучит ножками, когда на него резко сядешь. Наби пытается приподнять крючок вешалки, но у нее не хватает сил, и железка спадает с еще большим шумом. Говорят, что умирать совсем не больно, наоборот, смерть сладка, как мед, она пьянит, как ароматный дым, наполняющий грудь, а открывающаяся где-то в глубине мозга дверка похожа на райские врата. Потом душа покидает тело — через все поры, через глаза и уши, через волосы и ноздри — и растворяется в воздухе, ветер несет ее над морскими волнами, над камышовыми зарослями, над листьями лотосов, среди облаков, легких, как драконы, пока не встретит новую форму, с которой могла бы

соединиться, — живую форму, травку, дерево, стрекозу или кошку.

— Да, я поняла, это та кошка, которая ходила в салон причесок, это — Китти!

Саломея снова превратилась в маленькую девочку, лицо ее озаряет улыбка, может быть, и боль на мгновение перестала терзать ее тело.

Не знаю почему, но от ее радости мне становится плохо. Я резко встаю, чтобы положить конец этому идиллическому вранью.

Нет, Саломея, смерть безобразна, и, когда господин Чо несколько дней спустя проник наконец в квартиру, потому что тарелки, которые он оставлял у двери, оставались полными и начали привлекать насекомых, он почувствовал запах и все понял. У него был ключ от всех помещений, и он открыл им дверь, открыл не без опаски. Правда, он был полицейским, а потому прошел дальше, в глубь безмолвной квартирки, пока не увидел Наби, висевшую на ручке кухонного окна с врезавшейся в шею витой стальной проволокой. Он осторожно отцепил уже остывшее и закоченевшее тело, уложил его на полу кухни. И тихо, словно боясь разбудить Наби, прошептал: «Зачем? Зачем?»

Я ухожу не прощаясь, ничего не сказав госпоже Ван, сидящей в буфетной. Думаю, я скоро освобожусь, мне не надо будет больше рассказывать свои истории, я смогу зажить собственной жизнью в этом огромном городе, где имеют значение только настоящее время и мир живых.

# История про двух Драконов, рассказанная Саломее

**Октябрь 2016 года**

— Эта история — вовсе не история, — начала я. Саломея лихорадочно смотрела на меня широко раскрытыми глазами. — Да, а как история, которую рассказывают, может оказаться вовсе не историей?

— Если она — правда, — сказала Саломея.

— Да, конечно, но даже правда может оказаться ложью, если ты в нее не веришь, а ложь может показаться правдой, если я буду хорошо рассказывать.

— Тогда как же?

— Сейчас скажу. Прежде всего, надо знать, что герои этой истории не существуют на самом деле.

— Потому что ты их выдумала?

Я помедлила с ответом. Мне хотелось, чтобы она поняла, что я ничего не выдумываю, даже если это и не существует на самом деле. Я хотела, чтобы это помогло ей, такой невесомой, жить, —

как воздух, как мелодия песни без слов, как дуновение ветерка на лице, сквозняка, прилетевшего из окна, открытого на улицу, и улетевшего куда-то в соседнюю комнату, где сидит госпожа Ван.

— Я уже сказала тебе, что ничего не придумываю. Поэтому и назвала персонажей этой истории драконами — Дракон с севера и Дракон с юга. Они существуют, можешь не сомневаться, только их никто не видит. Я не буду пытаться описывать их, ведь они невидимы. Они похожи на облака, на отблеск света на морской глади или на капли дождя, которые ты слышишь, но не можешь увидеть.

— Тогда как же я могу быть уверена в том, что они существуют?

— Потому что они древние, древнее тебя и меня, они существовали всегда, до этого города, до этой страны, потому что мы с тобой — всего лишь миг в истории этого мира, а они, эти спящие драконы, пребывают здесь с самого его начала.

Саломея закрывает глаза, голова ее покоится на наклонной спинке кресла, руки плоско легли на подлокотники. Она отдается мечте, как отдаются сну.

— Вы помните историю про крошку Наоми,

которую старая Хана нашла на пороге клиники Доброго Пастыря?

— Да, помню, она ведь не окончена, это незаконченная история, правда?

— Не незаконченная, — говорю я. — Эта история продолжается до сих пор.

— Тогда скажите, что с ней стало и как она связана с двумя сеульскими драконами?

Я и сама не знала, пока не начала рассказывать, но теперь мне все стало гораздо яснее, каждая история имеет связь с остальными, как люди, которые едут в метро в одном вагоне: всем им было суждено однажды встретиться — где-то там, в огромном городе под названием Сеул.

— Когда она подросла, превратилась в девочку, очень интересную девочку, может быть, потому, что у нее не было настоящих родителей.

— Как у меня, — шепотом говорит Саломея.

Хану она мамой никогда не называла, хотя и очень ее любила. Она выглядела нормальным ребенком, иногда капризничала, иногда впадала в отчаяние, но приемная мать стала понемногу замечать в ней особый дар, которым не обладали другие дети. Она видела вокруг себя то, чего никто больше не видел. К этому времени Хана

перестала работать в «Добром Пастыре», потому что устала от ночных дежурств, а может быть, и потому, что боялась, как бы там не поняли, что это она похитила младенца. А младенцев было так много! Они поступали каждый месяц партиями по десять-двенадцать душ, подыскивать им родителей становилось все труднее, особенно тем, кто родился с физическими недостатками, — слепорожденным, альбиносам, даунам. Так что исчезновение Наоми никого особенно не обеспокоило. Когда дневные сиделки стали расспрашивать Хану, та уверенно соврала:

— Так ее удочерили.

— Да когда же?

— На прошлой неделе, очень приличные люди, из правительства, живут в Намсане. Они подписали все бумаги и даже сделали «Доброму Пастырю» пожертвование.

Пожертвование? Это сразу сняло все подозрения. Но, когда Хана уходила из приюта, она все же сменила адрес, чтобы быть уверенной, что никто не явится к ней с новыми расспросами. Чтобы растить малышку Наоми, Хана вернулась к своей прежней работе и поступила кухаркой в ресторанчик по соседству, в нижнем этаже большого

жилого дома, неподалеку от Чонно[48]. Наоми ходила в школу тут же, по соседству, она уже научилась читать и писать, а еще петь. Красивым голоском она распевала детские песенки, некоторые — по-английски. Тот скрытый дар, которым она обладала, проявился однажды, когда девочка гуляла с приемной матерью на холме над Чонно. Она показала на дерево, большое дерево, росшее отдельно у подножия скалистого уступа:

— Там женщина, она на нас смотрит.

Старая Хана вытаращила глаза:

— Где? Я ничего не вижу.

Наоми не унималась.

— Смотрит, смотрит. Она вся в белом, такая красивая. Улыбается.

Хана приписала это видение фантазиям маленькой одинокой девочки. Она никому об этом не рассказала. Чтобы как-то отвлечь Наоми, она записала ее в школьный хоровой кружок. В другой раз, когда они шли по улице, возвращаясь с хора, Наоми заговорила о птицах, парящих в небе, о множестве птиц, которые летали, описывая круги, молча, только крылья шуршали на ветру. Однако в ясном небе ничего не было

**[48] Сноски: 48**

Чонно (буквально «Колокольная улица») — одна из старейших магистралей в центральной части Сеула.

видно, даже самолета. Тогда Хана и поняла, что Наоми — не такая, как другие дети, что ей дано видеть невидимое. А поскольку она обладает таким даром, старая Хана подумала, что ей следует познакомиться с богом. Она отвела Наоми в храм Бонгвонса[49], расположенный на холмах над городом. Был чудесный солнечный день, самое начало зимы, деревья стояли будто покрытые ржавчиной, такси доставило их к входу в храм, и они пошли по проходам. Хана несколько раз падала ниц перед святыми образами, Наоми следовала ее примеру. Вместе они зажгли курительные палочки и поставили их в огромный глиняный горшок, наполненный белой глиной. Потом они ушли и пешком спустились по дороге до автобусной остановки, чтобы ехать домой, в Дунгде.

— Что ты видела в храме? — спросила чуть позже Хана.

Она подумала, что бог благословил Наоми и теперь, преобразившись, она пребывает в радости. Но Наоми только пожаловалась, что у нее болят ноги. «Может, это не ее бог, — подумала Хана. — Может, она рождена христианкой, в конце

---

**[49] Сноски: 49**
Буддийский храм в Сеуле, в районе Содэмунгу.

концов, мне ничего не известно о ее семье». И Хана повела девочку в собор Мёндон[50], большое кирпичное здание в самом сердце оживленного квартала, окруженное кинотеатрами, пиццериями и кафе. Но Наоми там тоже не понравилось.

— Тут мрачно! — сказала она. — И почему все люди тут кажутся такими грустными?

Старая Хана призадумалась. «Если Наоми не буддистка и не христианка, кто же она тогда?» Как-то в субботу, когда в школе не было занятий, Хана решила отправиться в новую экспедицию. Ехать пришлось на другой конец города в квартал под названием Вуитон — нагромождение узких улочек вокруг автобусного вокзала. В помещении, похожем на гараж, танцевала на саблях высокая мужеподобная женщина. На ней было надето сразу несколько платьев, которые она снимала одно за другим, не переставая кружиться. Обута она была в большие американские красно-белые кроссовки, а на запястьях у нее позвякивали медные браслеты. Семьи складывали к ее ногам подношения, бутылки со спиртным,

**[50] Сноски: 50**

Собор Мёндон (собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии) — католическая церковь в Сеуле, расположенная на улице Мёндон. Кафедральный собор архиепархии Сеула и национальный историко-архитектурный памятник.

фрукты, сигареты, деньги в незаклеенных белых конвертах. Хана тоже приготовила немного денег, она хотела представить женщине дочку, чтобы та ее благословила. Наоми держалась позади Ханы, не желая показываться, прятала лицо в юбки приемной матери.

— Не бойся, дай ей твой конверт!

Но Наоми ни в какую не желала подойти, конверт весь измялся в ее ручке. Женщина все кружилась, поглядывая на Наоми то сердито, то насмешливо, с губ у нее то и дело срывались непонятные слова, которые она произносила то низким, то пронзительным голосом, стуча при этом в маленький барабан. Сброшенные платья валялись вокруг нее, принимая в свете неоновой лампы фантастические формы. Потом Хана поняла, что Наоми своим поведением мешала церемонии, семьи-то ведь пришли сюда за благословением, чтобы их сыновья успешно сдали экзамены и поступили в университет. На них уже стали косо поглядывать, все могло кончиться очень плохо. Опустив голову, они выбежали на улицу, и в метро, на обратном пути в Донгдо, девочка так мрачно смотрела на Хану, что та почувствовала себя виноватой.

— Зачем мы ездили смотреть на эту злую те-

тю? — спросила чуть позже Наоми.

Хана не знала что ответить.

Тогда-то Наоми и заговорила о драконах.

Я на мгновение замолчала, и Саломея сказала мечтательным голосом:

— Я родилась в год Дракона, ты знала это?

Она никогда не говорила мне о своем возрасте, но я тут же быстро подсчитала:

— Это могло быть только в 1977 году.

Саломея:

— Первого февраля 1977 года.

Значит, ей тридцать девять лет или, если считать по-корейски, около сорока. Впервые я решаюсь задать ей вопрос:

— Почему родители назвали тебя Саломеей? Ведь она была жуткая дрянь, правда?

Я употребила английское слово «*bitch*[51]», которое в точности соответствует этому персонажу.

Саломея вдруг начинает нервничать и запальчиво отвечает:

— Нет, я сама выбрала себе это имя, потому что хотела бы быть такой — танцующей женщиной! Она ведь прекрасно танцует, эта Саломея, вот люди и злятся на нее за это, все, кроме ее дяди,

---

**[51] Сноски: 51**
Сука (*англ.*).

но они злятся, потому что завидуют, — завидуют славе, это так же, как в истории про Наби: людям не нравится, когда кто-то другой счастлив, они проклинают девушку, которая танцует, но приходит день и — раз! — она отрубает им голову!

Ничего себе.

Саломея сидит задумавшись. День уже близится к концу, осенний свет окрасился в цвета листьев гинкго, которыми усажена улица вдоль ее дома. Я думаю, что ей, наверно, хочется услышать историю, где будет много красок, историю про деревья, про горы — чтобы вырваться из неподвижности своей квартиры, чтобы вздохнуть полной грудью.

У Наоми вошло в привычку смотреть на небо, ничто другое ее не интересует. Каждый день она тащит старую Хану за руку, они вместе выходят на улицу, идут к каналу, подальше от жилых домов. Она смотрит на облака.

— Что ты там видишь, Наоми? — спрашивает Хана.

— То, что я вижу, не шевелится, — говорит Наоми. — Это как будто два огромных свернувшихся змея, они ждут.

— Чего же они ждут? — допытывается Хана.

— Они ждут своего дня, — просто говорит На-

оми, а Хана думает, что же это за день, за час такой.

Сама она смотрит на небо между высокими домами, или когда они идут к мосту Самиль-гё, и ничего не видит, даже если очень сильно прищурится. Как-то в воскресенье они сели на метро на синей линии, вышли на станции «Чхунмуро» и пошли к горе. В соснах еще слышалось пение цикад и другой, более пронзительный звук — крик птицы. Наоми сильно сжала Хане руку. «Тут я могу увидеть драконов, — сказала она. — Они не любят городского шума, прячутся, когда вокруг много народу, много машин». Они прошли до дороги, ведущей на вершину горы, далеко от трамвая. Там они уселись на каменную скамью, и Хана прочитала Наоми надпись на каменной стеле, где говорилось про Юн Дончжу[52]. Она прочитала слова поэта, но, возможно, она знала их наизусть в память о войне, на которой нашел свою смерть ее дед.

*Одна звезда — для памяти, другая — для любви. Одна звезда для грусти, другая — для желания. Одна звезда для стихов, другая — для моей матери.*

---

**[52] Сноски: 52**

Юн Дончжу (1917–1945) — корейский поэт, автор лирических стихов, а также «поэзии сопротивления».

Наоми внимательно слушает, а потом говорит: «Мне очень нравятся стихи, где говорится про звезды».

С этого дня Наоми стала часто говорить о двух драконах. Она не говорила, какие они, откуда взялись. Только странные вещи, вроде: «В тот день, когда драконы проснутся…» Или: «Когда придет их час, драконы найдут друг друга». Наоми еще маленькая, и Хана думает, что девочка просто сочиняет, она покупает ей книжки с картинками, в которых говорится о драконах. Однажды она даже сама рассказала ей историю, услышанную в детстве, — историю про морского дракона: «Давным-давно на юге Кореи, неподалеку от города под названием Мокпо, жила старая крестьянка. Она жила одна-одинешенька, потому что ее муж и оба сына погибли на войне. Чтобы прожить, она пекла рисовые лепешки и каждый день продавала их на базаре в Мокпо. И вот однажды по дороге в город ей повстречался тигр. Тигр был голодный, он подскочил к женщине, чтобы съесть ее, но та бросила в него рисовую лепешку и побежала прочь. Правда, бежала она не очень быстро и вскоре почувствовала, что тигр настигает ее, тогда она бросила вторую лепешку, потом третью, потом еще и еще. И каждый раз тигр проглатывал

лепешку и продолжал свое преследование. Тут старуха выбежала на берег моря. У нее не осталось больше ни одной лепешки, чтобы бросить тигру, и она обратилась с мольбой к Морскому Дракону: «Великий Дракон, — закричала она, — помоги мне, пожалуйста, спаси меня от этого чудовища!» Не успела она прокричать эти слова, как море отверзлось и из него появился Морской Дракон. Он сказал крестьянке: «Пойдем со мной за море, там, на той стороне, тигр тебе будет не страшен». Так и случилось, Дракон попридержал море, и старуха прошла через него до острова, и жизнь ее была спасена».

— А какой он был, этот Морской Дракон? — спросила Наоми. — Расскажи.

Но Хана не знала что ответить.

— Ну, просто дракон, такой же, как те, которых ты видишь, — сказала она. — Его же никто не видел, кроме той крестьянки, но он существует на самом деле, спит себе в море.

Больше вопросов Наоми задавать не стала. Она знает, что эти два дракона живут в небе. Она не видит их, только чувствует, это как дыхание теплого летнего ветерка, или как вихри, кружащие золотые листья гинкго. «Когда придет их час, они встретятся — как братья-близнецы, которых

разлучили при рождении». Сидя на скамье перед стелой Юн Дончжу, она запрокидывает голову. «Я точно знаю: тот, кто написал эти стихи, видел их». У старой Ханы тоже нет на этот счет никаких сомнений. Она говорит: «Так всегда бывает, когда случается война или какое-нибудь бедствие, драконы шевелятся во сне, а вот когда они проснутся, наступит судный день». Все-то она перепутала, думается ей, и Библию, и слова Будды, и даже сказки-небылицы, которые рассказывала ей бабушка, когда кончилась война.

* * *

Я снова увидела сталкера.

Думаю, в действительности он никогда меня по-настоящему не оставлял. Он — мастер своего дела, неужели его могут испугать несколько дождевых капель? Я явно недооценила его. Я увидела его в метро, увидела и сразу узнала. Он не был похож на того, кого я видела когда-то, когда жила в Эль Сордидо. Он показался мне выше, на нем был элегантный костюм, черные кожаные туфли, модные, разве что чуточку слишком остроносые. Вместо нелепой черной шерстяной вязаной шапки он носил теперь небольшую серо-голубую

шляпу, как у тех, кто ходит на бега или посещает шикарные кафе в гранд-отелях Чамсиля[53].

В Чамсиле я его и увидела. У меня была назначена там деловая встреча в офисном центре по поводу перевода с английского для одной фирмы. То ли страховой, то ли брокерской — я точно не знала, просто ответила на объявление на сайте *jobkorea.* Деньги они предлагали вполне приличные, дело было перед самыми экзаменами в университете, так что «сучка» сама вернулась к занятиям и во мне больше не нуждалась. Я уже два месяца не навещала Саломею, мне действительно нужны были деньги, чтобы заплатить за жилье. Встреча в Чамсиле была назначена на девять часов вечера, служащие уже покинули свои офисы, и квартал опустел, здание делового центра походило на огромный корабль, залитый огнями, но совершенно безлюдный. Я узнала знакомый силуэт в вагонном стекле. Он стоял сзади, в нескольких шагах, и смотрел на меня. Думаю, что я узнала прежде всего его взгляд, мне что-то словно давило в спину, чуть ниже затылка, такое ощущение, будто вдоль позвоночника течет струя холодной воды. Но я была

---

**[53] Сноски: 53**
Чамсиль — район и станция метро в Сеуле.

в метро, среди множества людей, они входили и выходили на каждой станции. Когда объявили мою остановку, я решила сразу не двигаться, а выскочить в последнюю секунду перед самым закрытием дверей. Я видела такое в фильмах. Мне казалось, что это неплохая идея. Я быстро зашагала по переходам метро к выходу четыре, от которого ближе всего до здания фирмы. Несмотря на окружающий шум, я слышала позади себя шаги сталкера, он шел поодаль в том же темпе, что и я, и стук пластиковых каблуков его новых ботинок гулко отдавался в переходах метро, в точности как в кино. Сердце мое билось со страшной скоростью, несмотря на сквозняки, я вся взмокла от пота. Наконец в переходе рядом никого не осталось, кроме меня и этого стука каблуков. Я попыталась размышлять здраво: если я побегу, он побежит быстрее меня, а я тем самым дам ему понять, что знаю, что он здесь, что боюсь его и он может сделать со мной все что захочет. Если же я спрячусь, например, заскочу в магазинчик, где продаются ремни и зонтики, он поймет, где я, дождется, пока я не выйду, потому что не могу же я бесконечно оставаться в магазинчике площадью в три квадратных метра со старушкой, которая будет меня все время спрашивать, что

я желаю купить. Я поискала глазами человека в форме — полицейского, служащего метро, просто военного, чтобы позвать его на помощь, но когда вам кто-нибудь очень нужен, его никогда не оказывается рядом. А что, если у него есть сообщники? И если полицейский не полицейский, а переодетый преступник и воспользуется этим, чтобы схватить меня, начать угрожать? Я решила было позвонить, но не смогла вспомнить ни одного телефонного номера. Я действительно была совсем одна на этом свете. На какой-то миг я подумала даже о Саломее, но это было глупо: чем мне поможет несчастная калека? Я подумала о ней из-за самой истории, как будто ее развязка важнее действительного положения дел. Она сказала бы: «И что дальше?»

И я могла бы сочинить хороший конец, который все расставил бы по своим местам, придумать какую-нибудь хитрость, которая спасла бы меня, и я осталась бы в живых. А раз я могу придумать какой-то конец, представить себе, как я убегаю от этого человека в огромных лаковых ботинках и маленькой, словно приклеенной к голове шляпке а-ля Маверик, который гонится за мной механической походкой, значит, я хозяйка положения, и оно, это положение, может

еще измениться, и все прекратится, растает, как в ночном кошмаре, рассеивающемся в одно мгновение при первых лучах утреннего солнца. Да, так и есть, все это сон. Я — персонаж собственного сновидения и в то же время смотрю на себя со стороны, вижу, как делаю что-то, как иду, размахиваю руками, прижимаю к боку висящую на плече сумку, незаметно поворачиваю голову, чтобы поймать в витрине отражение сталкера, считаю шаги, раз-два, раз-два, раз-два, прибавляю скорости, раз-два, раз-два-три — как дети, которые, чтобы бежать быстрее, начинают подпрыгивать, при этой мысли я даже улыбаюсь. Подойдя к выходу четыре, я немного медлю: может, лучше пройти дальше до шестого, и перейти на ту сторону? Я тогда могла бы пробежать между машинами, воспользоваться уличной суетой, которая царит по вечерам на Чамсиле, и улизнуть. Но все это было ни к чему. Завтра или послезавтра — да, но не сегодня. Я ведь переехала совсем далеко, на другой конец города, к самой станции «Орюдон», и все оказалось зря. Я была уверена, что он выследил меня и там, шел за мной под Бруклинским мостом, мимо ресторанов, специализирующихся на блюдах из свинины, видел, как я входила в дом, стоял внизу, на тротуаре, до-

жидаясь, пока не зажжется окно моей комнаты. Потом с удовлетворением закуривал сигарету и, не двигаясь с места, докуривал до конца. А я-то думала, что все это уже далеко позади, что с этим покончено и мне ничего не грозит.

Теперь я уже испытывала, как мне казалось, не страх, а злость. Это она заставляла бешено колотиться мое сердце, из-за нее тяжело вздымалась грудь. Как я могла быть такой наивной? Неужели я и правда ничего не смыслю в жизни? Неужели все, что я пережила, — злобные нападки сестры, пренебрежение со стороны тети, одиночество, а главное — нищета, когда нечего есть, кроме горсти риса с кимчхи, нечего пить, кроме тепловатой воды из-под крана, — было нужно только для того, чтобы теперь стать добычей этого хищника, чтобы закончить свои дни разрезанной на куски и засунутой в черный полиэтиленовый мешок, перевязанный веревкой и выброшенный в реку Ханган? Эти мысли крутились у меня в голове, пока я поднималась по ступенькам, ведущим на улицу, и потом, пока шагала по тротуару среди прохожих к большому светлому зданию, похожему на стоящий у причала корабль.

И тут я вдруг поняла, что позади меня больше нет сталкера. Его не было видно ни в зеркалах

заднего вида припаркованных у тротуара машин, ни в витринах магазинов. Шагов его я слышать не могла из-за оглушительного уличного шума, рева автомобильных моторов, пронзительного рычания несшихся посредине мостовой автобусов, музыки, гремевшей из баров и магазинов, торгующих телефонами или косметикой, громкоговорителей, зазывал на порогах разных заведений. В какой-то миг через дорогу ко мне вдруг перебежала женщина, одетая в белое платье — то ли как у медсестер, то ли свадебное, она выглядела молодо, но, оказавшись ближе, я увидела, что у нее изможденное, морщинистое лицо, а из-под шапочки выбивались растрепанные волосы с густой проседью, кроме того, на ней была медицинская маска. Подбежав ко мне, она стала что-то кричать, я не поняла, посторонилась, чтобы дать ей пройти, она посмотрела на меня и повторила: «Спид! Спид!» Прохожие обходили ее как зачумленную.

Обернувшись — не для того, чтобы проследить за ней, а лишь воспользовавшись этим предлогом, — я убедилась, что сталкер и правда исчез. Я остановилась, чтобы перевести дух, и за это время в голове у меня пронеслось несколько мыслей: «А что, если я ошиблась?», или: «Может, ему

встретился на пути полицейский, и он испугался, что я на него заявлю?», или еще: «Сегодня еще не тот день. Он, как небесные драконы, ждет своего дня. Он объявится лишь тогда, когда придет его час. Но когда это будет? Когда он решит, что пришел его день? Почему завтра, а не сегодня? Почему здесь, в Чамсиле, а не в Орюдоне или не на улице, где живет Саломея?»

Прямо передо мной — вход в здание, мне остается сделать несколько шагов и толкнуть вращающуюся дверь. Но что-то останавливает меня от этого. Я не сразу понимаю, что происходит, затем вижу руку, удерживающую меня за плечо, и другую — крепкую, толстую, как древесный сук. Я не могу ни закричать, ни пошевельнуться. Ноги у меня дрожат, сердце колотится как бешеное, мне не вздохнуть. Сталкер здесь, за спиной, это он удерживает меня. Я слышу его голос, но не понимаю, что он говорит. Спокойные слова, произнесенные на одном дыхании. «Не входите, не идите туда, это ловушка, внутри вас кто-то ждет, ждет, чтобы причинить вам зло». Перед зданием — никого, по ту сторону двери — тоже. В холле полумрак, сквозь тонированное стекло лампы на потолке кажутся звездами с четырьмя лучами. Я вижу двери лифтов, мне — туда, на

двенадцатый этаж, где назначена встреча. Голос у меня в ушах повторяет: «Не входите, это ловушка, вы рискуете жизнью». Мне удается разжать руку мужчины и выскользнуть из его объятий. Я отталкиваю его: «Кто вы такой? Что вам надо?» Он выпустил меня, отступил назад на два шага, против света его лица не видно, и я узнаю только клетчатую шляпку, костюм. Он ниже, чем казался мне раньше, и не такой плотный. Я не знаю, улыбается ли он, как это бывало прежде. От него пахнет сигаретами, алкоголем. Этот запах успокаивает меня. «Откуда вы знаете?» Я больше не боюсь его, он — такой же человек, как и все. И шляпка у него смешная. «Кто вы? Как вас зовут?»

Он отвечает не сразу. Твердит одно и то же: «Не идите туда, там вас ждут, вы подвергаетесь серьезной опасности». Я не желаю слышать этого. Кричу: «Вы сами — опасность, вы уже несколько месяцев следите за мной, кто вы такой?» Он отвечает как ни в чем не бывало: «Это моя работа — следить за вами, меня наняли, чтобы я вас охранял». И снова повторяет ту свою фразу, теперь она звучит несколько напыщенно, так как я не желаю его понимать: «В здании вас ждут, кто-то хочет причинить вам зло, вас убьют». Те-

перь я стою рядом с дверью. Заглядываю внутрь, пустой и темный вестибюль словно отталкивает меня, я не хочу туда входить. «Кто вам заплатил? Кто просил охранять? Я не верю вам». И тут понимаю. Единственный человек, кто мог это сделать, кому все обо мне известно, у кого есть деньги и власть плюс воображение, это она, калека в кресле-каталке, она воспользовалась услугами Фредерика Пака, она все устроила, все организовала из своей желтой гостиной, с другого конца города. Это так нелепо, что я не могу удержаться от смеха, вернее от усмешки. «Ну ладно, тогда идите, отчитайтесь перед этим человеком, расскажите как все произошло. Как вы преследовали меня в метро, как помешали пойти на назначенную встречу, как спасли мне жизнь!»

Я поворачиваюсь к нему спиной и ухожу, не оглядываясь, шагаю по широкому проспекту к Чамсилю и не сразу понимаю, что прохожу мимо входа в христианскую церковь, мимо широкой двустворчатой двери с неоновой вывеской над ней, мимо той самой церкви, где когда-то начинала свою певческую карьеру Наби, это было давным-давно, думаю, я тогда только еще приехала в этот огромный город Сеул и бегала в книжный магазинчик в Чонногу полистать

в подвальчике японские детективы, а главное — книги китаянки Дянь, которая пишет свои романы для наивных провинциальных девчонок всего мира. Там я повстречалась с Фредериком Паком. Я подумала, что Саломея наверняка наняла сталкера, чтобы я потом рассказала ей, как страшно мне было, когда за мной следил какой-то незнакомец. А еще я подумала, что она никогда не узнает конца истории про *воннаби*-убийцу, хотя бы потому, что нанятый ею ангел-хранитель помешал мне войти туда, где меня ждал настоящий убийца. Ну что же, тем хуже для нее!

* * *

После всех этих непредвиденных событий я решила еще раз сменить жилье. Уехать из Орюдона. Я больше не боюсь «сталкера». Не знаю, продолжает ли он все еще исполнять свои функции ангела-хранителя, или Саломея уволила его: кому нужен раскрытый шпион? Это была игра, и, заговорив со мной, предупредив меня об опасности, он нарушил правила. Потом мне несколько раз позвонил господин Пак, он же — Фредерик, с предложением снова увидеться. Мы встретились в кафе «Лавацца», рядом со станцией метро «Ангук», где виделись и раньше.

В этом уютном квартале мне снова повезло: я нашла себе отдельную комнату на втором этаже маленького домика, принадлежащего пожилой китаянке, госпоже Ли Лю, которая живет там со своими тремя кошками. Возвращаясь с занятий в университете Хондэ, я усаживаюсь в кафе с чашкой капучино и в ожидании господина Пака записываю в тетрадку с белыми листами все, что только придет в голову: песни, стихи, даже аксиомы. Мне теперь нравится записывать свои сны. Время от времени господин Пак сообщает новости о Саломее. На самом деле ее зовут вовсе не Саломея, а Ким Сери, а господин Пак так говорит о ней, что мне кажется, будто он был когда-то в нее влюблен, лет двадцать назад, когда еще в школу ходил. Мне так представляется, но я, конечно же, не могу заговорить с ним на эту тему.

«Она очень сдала, — рассказывает Фредерик. — Она угасает с каждым днем, спрашивает о тебе. А ты не хочешь читать ее сообщения». А его-то это с какого боку касается? Я отвечаю язвительным тоном: «Ты что, теперь ее посланник?» Он пожимает плечами. «Какая ты злая. Непохоже на тебя». Что он знает об этом? Во-первых, злыми не рождаются, злыми становятся. Это одна из аксиом, которые я записала к себе в тетрадку.

Я решила не сдаваться и не попадаться больше на эту удочку. Всем от меня что-то надо, они, видите ли, не могут меня забыть. Перед переездом на новую квартиру тетя забросала меня сообщениями. Моя двоюродная сестра, распрекрасная Пак Хва, сбежала из дома! Вся семья в панике. Я тоже обязательно должна что-то сделать, все страшно боятся за ее жизнь, а может, и того хуже — за честь. Как будто ей есть что терять в этом смысле! Сначала я перезвонила было на тетин номер, чтобы сказать, что понятия не имею, что, где и с кем делает эта девица. Но это был неправильный ход. Тетя набросилась на меня с руганью, обозвала эгоисткой, вруньей и приспособленкой. И это после всего, что они с дочерью сделали для меня, взяли к себе, когда я приехала из своей глуши, ничего не знала в Сеуле! Да кто я такая? Какая-то дочка торговцев рыбой из Чолладо, да мне только треску потрошить! Я повесила трубку и больше на ее звонки не отвечала. После этого последовала целая череда сообщений, то с жалобами, то с угрозами. Я даже побоялась, как бы эта ведьма не заявилась ко мне домой: сядет на метро, доедет до Орюдона, выманит у хозяйки ключи — она ведь хитрая — и залезет в комнату. Я приду, а она сидит на постели, раздвинув ноги, и смотрит

своими глазками-угольками. Из-за этого я и стала искать себе новое жилье, и как можно дальше.

Потом она сменила тактику. Она добилась, чтобы мне позвонила мама и завела разговор о Пак Хва. Я разговариваю с мамой примерно раз в месяц, мы обмениваемся парой слов, чтобы быть в курсе: о погоде, о работе, о денежных проблемах. Я часто подумываю вернуться обратно в Чолладо, но как вспомню о нашей деревне, об улице, на которой ничего не происходит, разве что собаки подерутся, да в субботу какой-нибудь пьяница завалится на грядку со сладким картофелем, у меня даже сердце ноет. Хотя моря здесь не хватает, а мне так нравится бродить в порту, в Мокпо, пока мать договаривается с рыбаками о покупке рыбы-сабли и кальмаров. Я люблю запах морской воды, шум ветра, огни рыбачьих шхун в открытом море — словно огромные морские звери, повисшие во мраке.

«Подумай о нас, доченька, — говорит мать. — Она единственная дочь родной сестры твоего отца. Это родная кровь. От этого никуда не денешься». Чтобы успокоить ее, я пообещала, что займусь этим.

«Вот только сдам экзамены, тогда у меня будет больше времени».

Я солгала. Я знала, что пальцем не пошевелю ради Пак Хва. Пусть тетя нанимает частного детектива, могу дать ей телефон моего сталкера, если она захочет. Не помню, сказала ли я это матери, а она потом передала тете, но после этого между нами пролегла «пропасть непонимания», и я обрела покой. Через некоторое время я узнала, что Пак Хва вернулась домой. Отец дал ей пощечину, мать на нее наорала, потом они оба ее простили, и все снова стало как было. Вот так и получаются малолетние преступницы и падшие женщины. Еще одна аксиома.

Тогда-то я и поняла, что происходит в моей жизни; до сих пор я об этом по-настоящему никогда не размышляла, — до какой степени у меня все странно, невероятно. Не знаю, случайность ли это, или я увидела нечто вроде сна наяву. Когда я теперь об этом думаю, мне кажется, что было специально предназначено, чтобы свершилась эта история, что я выступила в ней как бы в роли посланца высших, небесных сил, и что после этого мне уже никогда не быть такой, как раньше. Вот, это моя последняя история, и я расскажу ее Саломее, пока еще не слишком поздно. Я сочиню ее, чтобы она знала, что была единственным человеком в моей жизни, который значил для

меня очень много, больше, чем родители, больше, чем сможет когда-либо значить Фредерик, единственным из миллионов и миллионов человеческих существ, живущих в этом городе, в Сеуле, со всеми его районами, со всеми домами, улицами и дорогами, мостами и туннелями, с его великой рекой Ханган, видевшей столько войн, преступлений и страстей, чьи желто-зеленые воды бегут и бегут вниз, к морю, смешиваются с грязными водами океана и никогда не возвращаются вспять.

# На ту сторону по мосту из радуги. История, рассказанная Саломее в больнице «Северанс»

**Апрель 2017 года**

Это — реальная история, единственная реальная история из тех, что я рассказывала. Я не хочу сказать, что другие истории, которые я рассказывала Саломее, чтобы облегчить ее боль, были сплошной выдумкой, но я их обрабатывала, чтобы они ей понравились, добавляла слова, где помягче, где пожестче, чтобы ей было понятно, что все это происходит в мире, которого она не знает, в мире, где всё находится в движении, где можно почувствовать жар солнца, холод зимнего ветра, дождь, снег. В мире жестоком и эгоистичном, которому до нее нет никакого дела. В мире, который не будет скучать по ней, когда она умрет.

Однажды ранним воскресным утром малышка Наоми вышла из квартиры своей матери на тринадцатом этаже корпуса Б жилого комплекса Чонно и спустилась вниз. Перед зданием был

устроен маленький продолговатый сквер, усаженный по бокам деревьями. У подножия одного дерева — магнолии, которая зимой никогда не сбрасывает листья, Наоми заметила в снегу неподвижный дрожащий комок коричневых перьев: это была птица, казалось, что она спит. Девочка подошла ближе, и тут птица раскрыла клюв и крикнула: «Пяк-пяк!» Наоми присела на корточки, чтобы лучше разглядеть ее, и спросила: «Что же с тобой случилось? Ты заблудилась?» В ответ птица снова пронзительно прокричала: «Пяк-пяк!» При этом она била крыльями, а перья у нее на шейке вставали дыбом. Наоми постояла немного рядом, но когда она решила продолжить свой путь, птица вскочила и бросилась ей в ноги. Задирая вверх голову, трепеща крыльями и крича свое: «Пяк!», она словно говорила: «Возьми меня с собой!» Наоми подумала, что, если оставить птицу здесь, местные кошки сожрут ее в один присест. Тогда она взяла птицу на руки, та не сопротивлялась, держась лапками за пальцы Наоми, будто это были не пальцы вовсе, а ветки дерева, и впившись ей в кожу своими коготками. Наоми поднялась обратно в квартиру. Матери дома не было, и, не зная, куда деть свою находку, она постелила в раковину полотенце и посадила

птицу на него. Она дала ей попить, сначала из стакана для чистки зубов, но у той ничего не получилось, тогда Наоми налила воды в ладошку, и птица быстро выпила все до капли. Должно быть, прошло уже немало времени с того момента, как она упала с дерева и ничего не пила и не ела. В теплой квартире птица заметно ожила, она встряхивала перьями, била крыльями. Наоми заметила, что крылья у нее были чудесного голубого цвета с каймой из черных перышек. Ничего красивее Наоми в жизни не видела. Вскоре вернулась старая Хана и, увидев птицу, воскликнула: «Да это же сойка! Лесная сойка!» Так Наоми и назвала птицу — Сойка, просто Сойка. Хана сказала, что она, скорее всего, умрет, потому что, когда птенец выпадает из гнезда, мама больше не может кормить его. «А что она ест?» Хана ответила, что она ест всего понемногу, но главным образом — насекомых и гусениц, которых находит в лесу на деревьях. К счастью, Хана выросла на море и знала, где найти червей для рыбалки. Она отвела Наоми на рынок Намдемун, рядом с вокзалом, потому что там есть много мелких лавчонок, где продается наживка для тех, кто отправляется на рыбалку, и они купили целый мешок опарышей. Наоми стала кормить Сойку при помощи

деревянных палочек: она подносила червячка ей к самому клюву, и та его хватала и проглатывала. После этого птица топорщила крылышки от удовольствия и с громким криком «Пяк!» снова широко раскрывала клюв, требуя новой порции. Следующая неделя стала для Наоми и старой Ханы сплошной радостью. Они по очереди кормили Сойку, разговаривали с ней, убирали за ней помет. Наоми заметила, что Сойка любит делать свои дела на бумагу, и Хана принесла откуда-то много старых газет и даже подержанных книг. Вначале они попытались сажать Сойку на ночь в клетку, но той это не понравилось, как только ее запирали, она начинала отчаянно кричать свое «Пяк!», и Наоми приходилось брать ее на руки. Теперь они не расставались. Куда бы Наоми ни шла, Сойка следовала за ней — даже в ванную и в туалет. Хана объясняла это так: «Ты — первая, кого она увидела, выпав из гнезда, вот она и решила, что ты ее мама».

Уходя на работу, Хана усаживала Сойку на ветку, которую подобрала в садике у дома и прикрепила скотчем к раковине. Возвращаясь из школы, Наоми с замиранием сердца входила в квартиру, где Сойка встречала ее пронзительным криком: «Мама, я есть хочу!» и громко

хлопала своими чудесными голубыми крылышками. Наоми кормила ее опарышами, поила из ладошки, после чего ложилась на пол и сажала Сойку к себе на грудь, чтобы согреть. «Слушай мое сердце», — говорила она. Наоми знала, что для младенца нет ничего лучше, чем слушать биение маминого сердца, а раз Сойка решила, что она — ее мама, то ей это тоже должно нравиться.

В больничной палате совсем не так, как дома, тут все белое, окно — квадрат нестерпимого света, который едва смягчают пластиковые шторы. Саломея лежит на кровати, верхняя часть ее тела заключена в металлический цилиндр, который то накачивает, то выпускает воздух. Мне видны только ее тощие ноги, ступни, руки и исхудавшее лицо. Кожа вокруг глаз серая, волосы зачесаны назад и закреплены заколками. Но лицо ее по-прежнему идеально, как на портретах Россетти. Голова запрокинута назад, на истонченных болезнью губах бледная улыбка, она похожа еще и на «Офелию» Джона Эверетта Милле[54], которую я очень любила лет в двенадцать, до такой степени, что даже повесила ее на стену у себя

**[54] Сноски: 54**

Милле, Джон Эверетт 1829–1896) — крупный английский живописец, один из основателей Братства прерафаэлитов.

в комнате в Чолладо. Когда я начала рассказывать про Наоми, веки Саломеи дрогнули: она хотела подать знак, сказать, что слушает меня, что ждет. Фредерик предупреждал: «Если ты не пойдешь к ней сейчас, потом будет поздно». Но я пошла не из-за этого. Мне просто вспомнилась птица, которую я подобрала когда-то ребенком и о которой позабыла. Мне захотелось поделиться этой птицей с Саломеей, не потому, что она так же дорога мне, как была когда-то дорога эта птичка, о которой я заботилась до самого конца, а потому, что ее история — такая же, как у всех живых существ. Самая загадочная история — история жизни от первого мига рождения.

За эти несколько недель, проведенных с Сойкой, Наоми узнала, что такое любовь. Приходя из школы, она стремглав бросалась в ванную, а голубая птичка приветствовала ее громким криком, означавшим не только «Мама, я хочу есть!». Этот крик выражал еще и радость встречи после долгого сидения в одиночестве в темной комнате. Наоми брала Сойку на руки, сажала к себе на плечо, а та легонько поклевывала ее в ухо, теребила ей волосы. Затем начинался процесс кормления, Наоми брала палочками мучных червей и опарышей, совала ей прямо

в клювик и приговаривала, чтобы та открывала рот пошире: «Ам! Ам!», как делают все мамы, когда кормят с ложечки своего малыша. Однако с Сойкой что-то было не так, Наоми поняла это, заметив маленький белый шарик у основания ее клюва. Она сказала об этом Хане, и они решили съездить показать Сойку в Сеульский государственный университет, где есть специальная служба, занимающаяся дикими животными. Попасть на прием им помогла Ю Ми, приятельница Ханы, работавшая в больнице в техническом отделе. Диагноз оказался страшным. У Сойки обнаружили вирус, который убивает диких птиц, деформируя им клюв и нарушая проходимость трахеи. Птичка была обречена, и ветеринар предложил сразу усыпить ее, чтобы она не мучилась и не заразила других птиц. Домой Наоми вернулась вся в слезах. Убить Сойку она не согласилась, несмотря на все уговоры Ханы: «Ты должна согласиться, Наоми, для нее это единственный выход, чему быть, того не миновать, тут уж ничего не поделаешь». Но как ей расстаться с Сойкой, которая так ее любит, которая так доверяет ей, повсюду ходит за ней, так хорошо кушает, а после еды поет, потягивается, расправляет крылья, показывая свои голубые перышки?

Наоми никогда не делала этого раньше, но теперь она стала молиться — всем святым, всем духам, которых встречала в своих сновидениях, — прося их помочь бедной Сойке выздороветь. С этого дня Наоми стала отвоевывать у безжалостного рока каждое мгновение Сойкиной жизни: день, час, отнятые у болезни, каждый прием пищи придавал ей сил, каждое биение сердца Наоми помогало биться и ее сердечку, стук которого Наоми ощущала сквозь пух, когда держала птичку в своих руках. Чтобы развлечь Сойку, Наоми раздобыла где-то диск с голосами птиц и проигрывала его на компьютере Ханы. Она нашла в Интернете записи горных соек и давала их слушать своей Сойке, которая широко раскрывала глаза, выказывая явное удовольствие. Перед сном Наоми устраивала ее на ночлег на ветке рядом со своим матрасом, чтобы слышать, чтобы быть начеку, если вдруг что-то случится. Ночью она не спала, думала о том, сколько всего могла бы увидеть, почувствовать Сойка, если бы выжила: вкус ветра в небе, зеленый ковер рисовых полей внизу, под собой, горы и леса, аромат разогретых на солнце сосен, под корой которых она ловила бы червячков, как учила ее Наоми. «Не умирай, пожалуйста, — словно молитву, повторяла ше-

потом Наоми. — Тебе еще предстоит увидеть столько прекрасных вещей, я же спасла тебя, ведь ты уже тогда могла погибнуть, не умирай!»

Саломея слушает мою историю, я знаю — ей нравится, потому что веки ее иногда приоткрываются, и тогда на черных глазах блестит слезинка. Когда я уселась на металлический стул рядом с ней, врач, женщина примерно того же возраста, что и Саломея (может, потому она и сострадает этой несчастной, дошедшей в болезни до последней точки), сказала мне: «Знаете, она, похоже, уже ничего не осознает, кроме лекарств, которые ей дают для облегчения боли. Но вы поговорите с ней, она услышит, даже если вам покажется, что она спит, знайте — она слышит вас». Я одна прихожу к ней каждый день, может, потому что у меня сейчас нет работы, а экзамены уже кончились. Экзамены я провалила, год наверняка пропал зря, возможно, у меня не будет средств для продолжения учебы, и мне придется вернуться туда, назад, уехать далеко от Сеула, чтобы помочь матери в работе. Господин Пак, Фредерик — он ведь так любит Шопена, говорит, что скоро поедет в Штаты, в большой университет — Рутгерс (почему-то это произносится как

«Ратгерс»)[55]. Поехать вместе с ним он мне не предложил, да я и не смогла бы, наверно… Что, тоже стать «сучкой»? Саломея — вне всего этого. Она одна на своем острове, вдали от шума, от бурь, мой голос — единственная нить, удерживающая ее здесь.

Сойка теряла силы. Если раньше она жадно набрасывалась на еду, стоило только Наоми протянуть ей палочки с опарышем, то теперь отворачивалась. Время от времени она издавала свое пронзительное «Пяк! Пяк!», но теперь в ее крике Наоми слышала не радость, а что-то, похожее скорее на раздражение и страх, на вопрос, на который у нее не было ответа. Чтобы как-то развлечь ее, Наоми брала птицу на руки и, прижав к себе, спускалась вниз, в облезлый садик перед домом, где гуляла с ней под деревьями. Наоми думала, что Сойка, возможно, узнает место, где родилась, вспомнит свою маму, родное гнездо. Но как только они выходили на улицу, Сойка начинала дрожать и, закрыв глаза, прижималась к шее девочки. Слишком большим был для нее мир, слишком светлым небо, холодный ветер

**[55] Сноски: 55**

Ратгерский (Рутгерский) университет — государственный исследовательский университет США, крупнейшее высшее учебное заведение штата Нью-Джерси.

пронизывал ее пух, а цепляться за ветки, которые подставляла ей Наоми, у нее не было сил, или, возможно, она боялась, что девочка бросит ее на дереве. Делать было нечего, Нуни, помощница ветеринара в клинике, сказала тогда: «Рано или поздно тебе придется принести ее сюда, чтобы мы помогли ей умереть. Она сама попросит тебя об этом, и если ты ее любишь, то должна будешь оказать ей эту услугу». Старая Хана ничего не говорила, только смотрела, как Наоми прижимает к себе птицу, и вздыхала. Любовь — это испытание, думала она, ей самой довелось пережить все это, когда она увезла Наоми из приюта, взяв на себя ношу, которую уже не могла сбросить, раз уж берешься за что-то, надо идти до конца. Теперь Наоми не устраивала Сойку на ночь на ветке, примотанной скотчем к раковине. Она сажала ее себе на грудь (на пеленку, потому что та могла напачкать) и ждала, пока птица не уснет. Затем осторожно пересаживала на насест, боясь каким-то образом навредить ей во сне, и слушала ее дыхание. Раньше ей было невдомек, что такое маленькое существо может так шумно дышать, время от времени вскрикивая, словно увидев страшный сон. Наоми была дорога каждая минута ее сна. Тогда она и сама засыпала неглубоким

сном, населенным странными видениями. Ей снились разные создания, которых она перевидала во сне начиная с самого раннего детства, некоторые — симпатичные, другие — злобные, ужасные. Часто ей снились два дракона в небе над Сеулом, они накрывали собой город и реку, а иногда просто медленно шевелились, терлись друг о друга. А еще ей снилось, что она улетает вместе с Сойкой, она видела, как они летят над полями, над лесами и рисовыми плантациями, летят на острова в океане.

Саломее тоже хотелось бы пошевельнуться. Может быть, ей больно от пролежней на спине, а может, судорогой сводит ноги. Я осторожно массирую ее, как меня научили, когда я ухаживала за бабушкой. Разминаю одеревеневшие сухожилия, мускулы, пальцами медленно-медленно гоню вверх кровь и лимфу. Аппарат искусственного дыхания шуршит как прибой на галечном пляже, пронзительно пикает кардиомонитор. Скоро должна подойти медсестра, бледная, с длинными черными волосами, скрученными в узел под белой шапочкой; она вставит шприц в трубку, прикрепленную к вене на правой руке Саломеи, впрыснет мутную жидкость, снимающую боль. «Теперь она уснет до утра». Сестра закроет план-

ки вертикальных жалюзи, комната погрузится в полумрак, но в коридорах по-прежнему будут гореть неоновые лампы. Я встану и бесшумно пойду к двери палаты.

В ту ночь Наоми разбудил какой-то звук, она вскочила с постели и увидела, что Сойка упала со своего насеста. Она лежала на боку на полотенце, в раковине, и по трепещущим перышкам было видно, что птица еще жива. Наоми осторожно взяла ее в руки и прижала к сердцу, нашептывая разные ласковые слова. Но Сойка оставалась безжизненной: головка ее была запрокинута назад, глаза закрыты. Тогда Наоми вспомнила о школьных уроках первой помощи и стала дуть ей в приоткрытый клювик, чтобы восстановить дыхание. «Очнись, Сойка, умоляю тебя, очнись!» Через мгновение Сойка очнулась, приоткрыла глаза и посмотрела на Наоми, но взгляд ее был далеким, потерянным. Наоми почувствовала, что птица дрожит, ей как будто хотелось расправить еще раз крылышки, порадовать девочку своими голубыми перышками. Она два раза прокричала свое «Пяк! Пяк!», но вместо радости в ее крике теперь слышалось страдание: тщетно пыталась Наоми удержать жизнь, покидавшую маленькое тельце. «Сойка… Сойка…» — шептала девочка.

Она еще раз подула ей в клювик, помассировала через пух сердечко. Птичка вдруг выпрямилась, запрокинув голову, словно пытаясь взлететь, ее крылья раскрылись в руках Наоми. Сойка умерла.

Саломея больше ничего не слышит. Со вчерашнего дня она в коме. По-прежнему шумит морским прибоем аппарат искусственного дыхания: вдох-выдох, вдох-выдох… страшный звук. Когда жизнь покинула ее тело, она не вскрикнула, ничего не сказала. Только стала вдруг вся белая-белая. Я попыталась ее спасти, стала растирать ей руки и ноги, дуть на губы. Но она уже далеко, она уже перешла на ту сторону по мосту из радуги — как Сойка. Тело ее лежит на больничной койке, грудь соединена с аппаратом искусственного дыхания, в запястьях — трубки, закачивающие в вены мутные облака забвения.

* * *

Я думала, что смерть Саломеи ничего не будет для меня значить. Даже наоборот, что, освободившись от ее давления, от ее озлобленности, я испытаю облегчение. Но моя злость на нее вдруг исчезла, она словно вывернулась наизнанку,

как только что выловленный и перевернутый на спину осьминог, из тех, что добывал мой отец, там, дома, в Чолладо. Саломея останется единственным человеком, кто действительно проявлял ко мне интерес здесь, в Сеуле, в этом городе, где никто ни с кем не общается. Она хотела, чтобы я жила для нее, рассказывая истории про жизнь, которая проходит там, снаружи, она использовала меня, но она же меня и охраняла. И вот, когда мне пришлось расстаться с ней, глаза мои наполнились слезами.

Наоми просидела рядом с Сойкой всю ночь. Утром, еще до того, как проснулась ее мать, она спустилась в садик перед домом, руками вырыла у подножия магнолии могилку и положила в нее тельце Сойки — на бочок, с высоко задранной головкой, как когда она ждала кормежки. Она не посадила цветов. Не помолилась. Она не знала, кому молиться. Мир спал, даже два дракона в небе Сеула еще спали, обвившись один вокруг другого. Она плакала, орошая слезами землю. Никогда уже она не будет прежней, ибо теперь она знала, как это трудно — умирать, когда тело, душа хотят жить, и что, прежде чем дух отлетит к чудесному, радужному мосту, приходится и кричать, и дрожать, и, наконец, замереть в неподвижности. Она

не забыла этого. Каждый день по дороге в школу она останавливается у магнолии и разговаривает с Сойкой, рассказывает ей о том, что произошло за день, о веселом и о грустном, о погоде на улице, о солнце, о ветре, о цветах, которые вот-вот раскроются, и даже о червячках, которые скоро начнут копошиться в древесной коре, словно говоря: «Съешь нас, съешь нас». И иногда она слышит в небе шорох крыльев, слышит пронзительный крик и чувствует, что Сойка здесь, рядом, что скоро она вернется.

* * *

Меня зовут Битна, мне девятнадцать лет. Я совершенно одна в этом огромном городе, в Сеуле, одна под его небом. Я знала много людей, много историй, некоторые мне рассказали, другие я придумала сама, они родились из моих снов или из моей жизни. Я не пошла на похороны Саломеи — Ким Се Ри, как ее назвали при рождении. Не уверена, что господин Фредерик Пак тоже ходил туда. Родные Саломеи не любят его, считают (он сам сказал мне это однажды, когда ему захотелось поговорить о себе), что он — как сорока, есть такая птица с черно-белым оперением, которая живет за счет других и тащит все,

что плохо лежит. Жиголо. Думаю, в чем-то они правы. Он — мужчина, таких очень много, берет, что ему надо и уходит, не оглядываясь.

Я шагаю под небом Сеула, медленно катятся облака, над Гангнамом идет дождь, где-то над Инчхоном сияет солнце, а на севере сказочным великаном выступает из пелены дождя гора Пукхансан. Я одна, я свободна, моя жизнь только начинается.

***Сеул – Париж – Сеул,***
***апрель – сентябрь 2017***